

# Архимандрит Сергей (Савельев): Слово о страдании и сострадании

Проповедь

Из проповедей в храме покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове

Сегодня я расскажу о нашей беседе, вернее о моей беседе, беседе отца с сыном.

Сын спросил меня: «Отец, а какой дар имеет сострадание, которое люди не изживают?» И сказал, что в каждом человеке есть дар Божий. И говорил, что в каждом человеке есть правда, частица Правды Божией, искра Божия. «Но какой же дар Божий имеет сострадание?» «Сын, ты мне задал вопрос, который многих волнует, многих смущает и многим приносит тяжелые переживания. Без страданий жить невозможно. Спаситель сказал: «В мире сем скорбни будете». Если вы видите человека, живущего без скорби, не знающего страданий, не осуждайте его, но вздохните о нем поглубже, ибо этот человек не знает сам, куда он идет.

Скорби — самые разнообразные. Страданий бесконечно много. И великие страдания, и малые страдания. И от болезней, и от тесноты жизни в семейных ли условиях, или от недостатка материального, или от тоски душевной, или от каких-нибудь болезней. Ведь мы говорим, что человек страдает запоем. Обратите внимание вот на это. Мы говорим — страдает запоем. И когда мы так говорим, мы как бы сочувствуем ему. В то же время мы знаем и другое слово, которое произносим тогда, когда у нас терпение иссякло. И мы говорим: «Человек — пьяница». Говоря так, мы уже погрешаем, мы бросаем камень, последний камень в человека, который едва стоит на ногах. А когда говорим «страдает запоем», тогда мы как бы вместе с ним страдаем.

Вот вчера я услышал от одного своего любезного, дорогого сына такие слова: «Ты знаешь, отец, как я страдал, когда меня угнетал запой. Я брал стакан с вином и со слезами обращался: «Господи, спаси меня», а сделать ничего не мог. И выпивал его». Я вам об этом говорю для того, чтобы вы поняли, что никогда нельзя осуждать человека, нужно всегда ему сочувствовать, сопутствовать и вместе с ним пороком этим как бы подавляться. Но не подавляться, а согнувшись вниз, приподняться и с Божьей помощью вместе встать и победить искушение. Апостол Павел говорит: «Все мне можно, да ничто не обладает мною». Если что-нибудь обладает нами, то мы должны это отвергнуть.

Я говорю о страданиях. Может быть, мне и не удастся высказать вам все, что хотелось бы, потому что страданиями переполнена жизнь, и нам надо научиться слышать эти страдания. Тот, кто живет беспечно, тот, кто живет с довольствием, — Бог с ним, пусть он так живет, нам с ним не по пути. Нам по пути с теми, кто воспринимает именно страдания человеческие, их принимает в свое сердце, их топит в своей, не в своей, а в Христовой любви. Вот жизнь, достойная человека. Я не знаю, что мы сделали с человеческой жизнью. Я просто не понимаю иногда. Мы — как безумные. Белое — мы говорим черное. Черное — мы говорим белое. Вот так мы и живем, ходим, так и в семьях своих, и где угодно. Так и в отношении страдания. Страдания — их надо всегда слышать, ибо тот, кто страдания слышит, тот оттягивает к себе, к себе зло мировое.

Дорогие мои! Не удивляйтесь тому, что я вам говорю. Вы можете слышать больших людей, великих людей, их прославляют на всех перекрестках, они кричат, шумят, славословят; когда они умирают, за ними толпы людей идут, над могилами их ставят памятники. Не то, не то. Вы

пойдите, послушайте. Вы послушайте, где стонет душа человеческая, где стонет она, беспомощная, беззащитная, где стонет она, и в стоне своем взывает к Богу. Она только в Нем одном имеет отраду и спасение. Многострадальный Иов был непорочный, богобоязненный, справедливый, и уклонялся от зла. Он был богат, у него было семь сыновей, три дочери. И вот однажды пришли к нему сыны Божии, а среди них и дьявол. Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Он ответил: «Я обошел землю». «А видел ли ты праведного Иова?» «Видел. Но что же ему не быть праведным, когда Ты огородил его таким благополучием. Вот лишу его, благословит ли он Тебя?» Господь сказал: «Все, что у него, отдаю тебе». И Иов лишился всего — и сыновей, и дочерей, и всего богатства. И снова пришли сыны Божии к Господу, и среди них снова дьявол. Господь спрашивает: «Ну что, откуда ты пришел?» «Я, — говорит, — землю обошел». «А видел ли ты праведного Иова?» «Видел». «Ну что он?» «Кожу за кожу, а за жизнь свою все отдаст. Возьми у него жизнь, он проклянет Тебя». Господь сказал: «Дам тебе его. Только душу его не отдам». И вот Иов был поражен. Поражен был проказой, опорошен до тмени. А прокаженных в то время выносили за город, и там на гноище они оставались. И задумался Иов, и восскорбел он всей душою. Что же с ним произошло? Он ведь боялся Бога, боялся греха, и вот вдруг с ним такое случилось несчастье. А в это время приходит жена его. Она лишилась крова, детей, страдает, а тут еще муж, на глазах червями уедаемый. Каково ей смотреть? Хоть бы муж-то умер. Она ему и говорит: «Похули Бога и умри». Она сказала так потому, что Иов только Богом и жил, и полагала, что если она оторвет его от Бога, ему будет не на чем стоять и он умрет. Иов же ответил ей: «Ты говоришь как одна из безумных. Благая приемлем, — говорит, — а злая не стерплю ли?» И остался непоколебим в своей вере и преданности Богу. Пришли три друга Иова, чтобы утешить его, и его не узнали, а когда узнали — возрыдали, разорвали одежду, посыпали пеплом главу, сели около него и семь дней сидели все молча. Сидели, страдали и думали: что же случилось? Наконец, один из друзей сказал Иову: «Как же это так — ты укреплял слабых, утешал страждущих, помогал, а сейчас тебя постигли такие бедствия? Разве Бог карает праведников?» И взывает к нему, чтобы он признался в грехе и не отверг бы от себя испытания. Жена отошла, друзья отошли, он — со своей совестью, один. Только Бог, Бог, Который его оставил...

Каждый из вас был у постели умирающего. Когда человек — смертельно больной, мы мало что понимаем. Мы мало понимаем то, что в это время человек уже уходит в иной мир, он уже тот и не тот, он смотрит теми же глазами и в то же время эти глаза уже не те. Он видит людей близких своих не так, как видел всегда, они уже не те, они иные. Потому что он сам иной, он находится на грани между этой и иной жизнью. Ночью ли, на рассвете ли, днем ли он остается один на один с Богом, и в это время его испытывает Господь. Испытывает Господь — не то чтобы Он хочет испытать, нет, но такая Премудрость Божия, ведь и Сам Спаситель в Гефсимании, вы знаете, молился, и на Кресте: «Почему Ты оставил Меня, Отче?» Ведь были у Спасителя такие мгновения, когда Он в человечестве Своем был оставлен всеми. Вы знаете, что апостол Петр даже бежал. Мы все идем крестным путем, мы все за Христом идем. Сознаем мы это или не сознаем, но для всех путь один. Так вот, когда мы идем уже ко Христу, то бывают такие моменты, когда, кажется, и Христос как бы оставляет нас. Это тяжкие минуты. Близкие — они часто не понимают, они около умирающего, но говорят своим обычным языком, не понимают того, что этот момент — священная минута. Перед человеком открывается иной мир, он уже не тот. Его надо окружить любовью, тишиной, в эту минуту нужно забыть о себе, как бы слиться с ним. Ах, дорогие мои, как мы бываем жестоки! Как мы бываем бесчувственны, когда перед нами лежит страдалец!

Так вот, дорогие мои, талант, дар Божий, вот в том человеке, который имеет безнадежные болезни, в которых он не повинен. В этих болезнях он только к Богу обращается и от Него не отрывается. Он не возбуждается, он не раздражается, он не ищет виновников своего тяжелого положения. А вы знаете, это редко бывает. Он всех покрывает любовью, он всем все прощает,

он весь, весь как бы уходит в Господа. И вы знаете, что я вам скажу? Этими людьми гнев Божий отводится от нас. Они предстательствуют перед Господом за нас. За ними, когда они умрут, пойдет, может быть, несколько человек. На могиле их поставят, может быть, крестик. Кто знает?

Но бывает и страшнее. А страшнее бывает, когда стоящий около него думает, скоро ли он умрет? Умрет — будет легче жить, будет жилая площадь больше. Так вот эти-то страдальцы — самое драгоценное, это украшение, это то же самое, что звезды, которые блещут на темном небе, так и эти люди в земном море человеческой жизни. Но никто их не знает, никто о них не думает, и вот в этом и есть наше несчастье. Около них нам нужно было бы останавливаться, к ним нужно было бы прислушиваться, от них нужно питать свою душу, а там, где пиршество, где довольство, где люди живут беззаботно и кости их полны жира, там делать нечего. Если бы только были весы! Весы... У нас есть весы, но у нас все порочное. И весы-то порочные. Мы что-то взвешиваем. Я имею в виду духовные весы. У нас показывают весы одно, а на самом деле — другое. Так вот если бы на одну чашу весов положить все то, что люди так возносят, о чем люди так шумят, все их дела, а на другую чашу положить тихие страдания людей, то человеческие весы, конечно, эти самые мелкие страдания — они их и не заметят. А между тем, на настоящих весах, на весах Правды Божией вот эти слезы, вздыхания людей, вот эти страдания, безвинные страдания — они весят столько, что перед ними все те большие дела, которыми люди занимаются, — ничто. Часто говорят: «Как же, умрет человек — от него останутся дела, они его прославят». Да, слов нет, труд — священное дело, и работать надо. Нужно это общее дело, и оно нас объединяет, оно созидает нашу внешнюю жизнь. Но, дорогие мои, когда человек уже приближается к концу, то между ним и делами его проходит раздел. Он все дальше, дальше уходит, а дела идут вперед. Он изобрел машину, а эта машина его уже старой стала, изобрели новую. Он построил дом, а этот дом уже разрушают, строят новый. И о человеке вспоминают, что он нужен, но он-то видит, что все он отдал, чтобы все это строить и созидать. Проходит жизнь, он остается один на один со своей душой, и вот тогда он только и поймет, что все дела, все труды священны, но они священны тогда, когда они вписываются в вечную жизнь, когда они под покровом Божиим, когда они связаны с любовью, с самоотверженным служением друг другу и устремлены к вечности. Вот тогда только и можно дышать, а без этого — без этого мы тяжело дышим. Мы мечемся, мы обижаем друг друга, толкаем друг друга. И почти не понимаем...

Так вот, дорогие мои, не на пиршество нас Господь призвал. Господь призвал нас к святым трудам. Господь призвал нас к тому, чтобы мы были крепче связаны друг с другом, особенно тогда, когда скорби, страдания кого-нибудь из нас подавляют. О них думать, к ним стремиться. Вы что думаете, Бог поругаем бывает? Нет, Бог поругаем не бывает. Но если прожить жизнь, и заткнуть уши, и не смотреть туда, где стон страдальца, то, дорогие мои, тяжело подумать о конце жизни каждого из нас. Да хранит вас всех Господь.

Спасибо.

И еще одно слово о страдании

В прошлую среду я высказал основные мысли о страданиях и страдальцах. Первая заключается в том, что когда человек умирает, он иными глазами смотрит на тех, кого оставляет. И для него люди те — и в то же время не те, мир тот же — и другой. Вторая же мысль заключается в том, что страдальцы являются как бы магнитом, оттягивающим зло, которое душит человечество. Вот последнюю мысль, мне кажется, что я не совсем ясно вам высказал. В сегодняшний день мне хочется на ней остановиться.

В самом деле, подумайте: человек здоровый, сильный живет в веселии и забот не знает. А

рядом — человек больной, страдающий. Ему не до веселья, ему — как бы только донести свой крест до конца. Где же здесь смысл? Я думаю, что вы согласны со мной в том, что в пределах земного мышления смысла здесь найти невозможно. Надо преодолеть притяжение земли, и тогда только это может стать понятным.

Вы знаете, когда человек больной или безнадежно больной, — он каким-то робким становится. Он и ходит-то не так, как все или как он когда-то ходил. Он боится отяготить людей.

Где же здесь смысл? Человек страдает, а вместе с тем как будто чем-то он и погрешил перед людьми, и боится, как бы их не обеспокоить. Это очень тяжелое сознание.

Я думаю, что каждый из вас мог наблюдать, как вдруг съеживается человек, и делается робким, и всякий его может обидеть. А рядом — здоровый, сильный, он думает только о себе и о том, чтобы в радости земной жить.

Но страдание бывает различное. Не все страдающие ткнут нам вечную жизнь. Есть страдающие люди, которые страдают и рвутся вырваться из страданий, чтобы отомстить, чтобы злом ответить на зло. Бывает такое страдание.

А о другом страдании очень хорошо сказано в акафисте преподобному Серафиму: «... За обидящих тя Господеви моляся». Преподобного Серафима избили разбойники до полусмерти, и он молился о них. Вот другое страдание. Оно спасает нас от гнева, любовью покрывает всякое зло.

Я был очевидцем одного случая, который мне запомнился очень глубоко, хотя это и было давно. Мне пришлось быть у умирающего ксендза, католического священника. Даже запомнил его фамилию — Каплуновский. Умирал он в тяжелых условиях. Я видел его, был около него. И умирая, он проклинал Россию, он проклинал русских людей...

Вспоминается мне и другой случай. У одной старушки — мне пришлось с ней беседовать — рука отнялась. И вот она ее поглаживает и говорит: «Рученька ты моя, рученька. Сколько ты работала! Сколько трудилась! Ты ни дня, ни ночи покоя не знала. Что ж ты теперь такая у меня стала? Рученька моя, рученька!» Ах, дорогие мои, бывают такие переживания, которые все внутри перевертывают. Трудилась эта старушка в своей семье. Ее не любили, ее не жалели. Она не знала ни днем, ни ночью покоя. И вот не может она больше трудиться. «Рученька моя, рученька!» Вот вам еще одно страдание. Это страдание — святое страдание. И чем больше его в жизни, тем больше смилостивится над нами Господь, тем больше Его к нам благоволение.

Много ли или мало таких страданий святых? Если бы мы имели чистые очи, то знали бы о многих таких страданиях. Но очи наши затуманены грехом, и поэтому мы мало что видим.

Страдания, спасающие род человеческий, — это святые страдания. О них никто не знает, никто не слышит. Их даже стараются поскорее забыть, забыть об этих людях. Они-то и предстательствуют о нас пред Богом незримо, они являются нашими ангелами-хранителями.

Вот семья. В семье живут мать, дети, ну хорошо, если еще отец, муж, на что-то похож. Ну и мать, дети... Надо их накормить, надо напоить. Надо проводить их на работу. Надо встретить. А они придут — и доброго слова не скажут. И мать молчит, ничего не говорит. Они грубость ей скажут — она снова молчит. Она заболит — ее не пожалеют. Так она и живет. А дети, да и отец, да и муж — ох уж эти мужья! — все думают: вот так как будто и надо. И того-то они не понимают, что мать, которая в своем сердце топит страдания всей семьи, — она является ангелом-хранителем для нее. Она, как духовный обруч, — связывает. Если этот обруч снять, то

бочки нет — она вся рассыпается. И семья рассыпается, когда мать умирает. И вот только тогда семья начинает подумывать, что же они имели в матери. Была мать — была семья. Не стало матери — и нет семьи.

А кто знал, что она на себе несет? Дети могли и важные посты занимать. А она — ничего она не знала. Ночь, полночь, — а ей нужно приготовить, нужно всех успокоить. Пришел сын пьяный — ну что делать! Оплакала его. Пришел муж пьяный — ну что делать? Надо понести и это. И вот мать является тем страдальцем, который спасает семью. Как только она уходит, семья погибает.

Так что же нужно делать? Как же жить-то нужно? Нужно, чтобы каждый член семьи вносил в жизнь не только что-то материальное, не только то, что он заработал, а прежде всего вносил бы нравственный, духовный вклад. Вот если бы дети вносили этот вклад, эта старушка была бы радостная, и жизнь ее была бы здесь, на земле еще, приуготована к жизни ангельской.

Но, к сожалению, мы не так живем. К сожалению, каждый из нас думает больше всего о себе самом. Что же может быть в семье? Что же может быть с соседями? Что же может быть с обществом? Что может быть с государством? Что же может быть в жизни человечества? Ведь жизнь-то человечества слагается из чего? Из жизней каждого в отдельности. Ведь если каждый в отдельности не будет действительно человеком, Божиим созданием, то как нас ни сажай, как нас ни называй, все равно, кроме отравы, мы ничего вносить в жизнь не будем.

А Господь нас призвал-то как великое украшение, лучшее украшение жизни. Ну какое же мы украшение? Мы же — горе. Мы же жестокие, безрассудные люди. вы послушайте только, как стонет природа от нас. вы никогда не слушали? Послушайте. Вы знаете, что подсчитано, сколько слонов на земле, подсчитано, сколько тигров, сколько львов. Подсчитано, сколько шакалов, сколько волков и, вероятно, даже подсчитано, сколько зайцев. А, может быть, — и мышей! Все подсчитано. С вертолета все учтено, и человек решает, когда кого нужно отловить, когда нужно убить, когда и что нужно...

А что делается в наших исследовательских институтах? Знаем ли мы это? Нет. А там — сплошной грех. Хотя этот грех-то прикрывается тем, что он во имя человека, но чем бы ни был прикрыт грех, он всегда остается грехом. И стон этих несчастных животных, мучения, которые они переживают, — и это опять-таки «ради человека». Все — «ради человека». Всякий ужас, всякое злодеяние — все «ради человека».

Так вот, дорогие мои, когда все это возьмешь во ум, когда слышишь этот стон старушки: «Рученька моя, рученька!», когда видишь бесприютную собаку, когда во дворе к тебе бездомная кошка бежит и жметя к твоему сапогу, — когда прислушаешься к этому в тишине, в молитвенной тишине, то страшно становится в жизни.

Мне, дорогие мои, приходится часто вам говорить не то, что вы слышите обычно. Но ведь я христианин. Не для того я поставлен здесь, чтобы говорить вам то, что вы можете слышать и на улице. Я поставлен для того, чтобы говорить по совести своей, говорить то, что Бог вразумляет меня, недостойного, сказать вам.

Я сознаю, что я делаю, и я сознаю, что это необходимо, как воздух, чтобы отдушина была, которая освежала бы воздух нашей жизни. Вот этой отдушиной должна быть святая Церковь. Но, к сожалению, мы оглохли, и неспособны слышать — ничего.

Почему я так говорю? Я говорю потому, что это мне внушает моя вера, православная христианская вера. Она — бесконечна. И вера — она заложена в природе нашей души.

Я не могу не верить. Я не могу не говорить о Боге, о творце. Почему? Не потому, что меня кто-то этому научил, — нет. Я должен вам сказать, что когда я был мальчишкой и учился в реальном училище, я не очень любил церковь. Не очень по душе мне было там. А вот Господь привел всю жизнь отдать Церкви. Почему? Потому что душа искала, бегала, металась. Где? Что? Где же правда? А я имел возможность ее наблюдать везде.

Не было ни одних дверей в Москве в двадцатых годах, которые, скажем, были закрыты для меня. Они все были открыты. Самых высоких людей — мыслителей, писателей — я видел, слушал, приглядывался к ним. Но нет, не то. Вера меня тянула, тянула она — к Богу.

Мне говорят теперь, что вера — это предрассудки, наука — вот что определяет жизнь. Ну, хорошо. Если она для кого-то определяет — пусть и определяет. Но для меня она не может ничего определять. «Почему же для тебя не может определять?» Да потому. что наука — это следствие нашей мыслительной способности. А мыслительная способность — только частица и, может быть, небольшая частица всего нашего естества. И я не хочу следовать за своим умом, ибо он — короткий. Если я за ним пойду, он меня заведет не туда, куда нужно. И если кто хочет идти туда, то обычно заводит он совсем не туда, куда хотелось бы. И чтоб вспомнить это, нужна все-таки какая-то правда. И эта правда тогда изобретается. И вера изобретается. Вера и правда. Это совсем не Божественная правда. Эта не та правда, которой может дышать человек. И вот поэтому, дорогие мои, и нужно блюсти в себе такую способность, чтобы наше внутреннее ухо способно было воспринимать жизнь вселенной и чувствовать в ней дыхание Божие. А это можно только тогда, когда наша жизнь — вся — отдается на служение Богу, служение в том месте, на котором каждого из нас Господь поставил.

Да хранит вас всех Господь!

Слово о страдании детей

Вот, дорогие мои, праздник Божьей Матери, Ее иконы «Утоли мои печали».

А сейчас кое-что я попытаюсь вам высказать. Как я уже сказал в тот раз, сын меня спросил: «Ну хорошо, когда взрослые страдают, тогда ты, отец, объяснил, что в этих страданиях они сближаются с Богом. Они очищают свою совесть, и для них эти страдания спасительны. И призвал нас, живущих, постараться понять, какую священную минуту переживают те, кто умирает. Ну а что ты можешь сказать, когда видишь безвинных страдающих младенцев? И неизлечимо страдающих? Какие они грехи-то совершили? Они Бога-то не знали, они жизни-то не знали, знали лишь одни свои страдания. Я, — говорит сын, — видел людей, пораженных тяжелой болезнью — волчанкой. Я смотрел на них, и сердце мое содрогалось. Они безропотно давали кровь, и большими дозами, они уколы с радостью принимали и даже огорчались, когда долго к ним не приходили. Им казалось, что чем больше у них возьмут крови, тем скорее они выздоровеют. Они не знали того, что не столько их лечат, сколько на них учатся, чтобы лечить других. Ну скажи, отец, где же Бог? За что же они страдают?» Вопрос тяжелый, но вопрос неотступный для каждого из нас. Я говорю сыну: «Вот что, сын, разговор о Боге мы пока оставим. Поговорим о другом. Когда ты видишь страдальца, ужасаться не стоит. И излишне страшить других тоже не надо, ибо это плохая помощь для ребенка. Ну что толку: ужаснемся, потом пройдем мимо и забудем? Нам это свойственно: ужасаемся, волнуемся, браним кого не надо, а потом сразу разворот жизненный — и следа нет. А ты лучше скажи мне, сын мой, что мы можем сделать для ребенка, который так страдает? Ну положим, что ничего нет, но все-таки же страдает ребенок, как ему помочь? Помочь ему тем, «что вскоре ты умрешь»? Или: «какое несчастье, что вот такой родился ребенок! Ну ладно, у нас родится другой, а этот? Как-нибудь». Как это — как-нибудь? Ведь этот же родился ребенок, он не сам по себе родил себя. Как же так можно?! Этот — как-нибудь, а второй ребенок будет, видно, хороший,

здоровый? Нет, так нельзя. Ребенок страдает. А остановиться около него? Ни с места. Но завтра ты ведь так же можешь страдать. И мимо тебя пройдут. И никому ты не будешь нужен. Останься. Срастворись страданию ребенка. Забудь себя. Люби его. Мучайся вместе с ним, так чтобы он через твою любовь почувствовал Бога. Тогда он, слепой, будет видеть, глухой — будет слышать, недвижимый — будет двигаться. Только люби его, не отходи от него, не оставляй ни на минуту. И когда ты увидишь на лице ребенка улыбку светлую, святую улыбку, то радуйся и веселись. Тебя Бог призвал к большему подвигу и к радости, нежели тех, кто высадился на Луне. Я не преувеличиваю. Да если бы мы все старались вызвать улыбку у страдающих и поставили бы главной задачей своей жизни улыбки вызывать у страдальцев! Оставьте все свои важные и великие дела, всё оставьте и вызывайте у страдальцев улыбки! Вот есть основная задача в жизни! Всех людей. А они летают на Луну. Чего вы на Луне достигните? С чем вы туда явитесь? Если бы мы научились вызывать улыбки у младенцев, то мы бы приехали туда и спросили: «Где тут у вас страдальцы?» «А что?» Если есть, то мы кинемся к ним с сострадающей любовью». А так что мы полетим туда? Что нам там скажут? С чем вы к нам прилетели? С термоядерной бомбой? С тем, что вы ненавидите друг друга? С тем, что вас гордыня поработила? Отправляйтесь на свою Землю и доживайте там свою жизнь.

Вызывать у страдальцев улыбку — вот наше призвание, наш долг, самое дорогое, самое важное дело жизни. А куда ни посмотришь, везде видишь что-то странное и непонятное, непонятное разуму. Мне кажется, что это какая-то ужасная чепуха.

Вот мы вызвали улыбку у младенца, и мы радуемся вместе с ним, он нас признал. Он лежит в гипсе, у него позвоночник переломан, потому что от волчанки кости такие слабые, они поломались, и его положили в гипс. Он лежит, а сейчас он улыбнулся, — какая радость! Это Пасха для нас! И мы благодарим Бога за это. Вот так будем его утешать. А мальчик спросит: «А что вы будете со мной дальше делать? Вы уйдете? Уйдете, а я что?» Что вы ему скажете? А ничего, ты умрешь, и тебя закопают, и все? Мы же ему сказать это не можем. А как же тогда что-то делать? Вот он у нас страдает, бедняга, а мы что? Стоим около него и думаем — скоро же он умрет. Вы знаете, какая-то ужасная ложь во всем этом есть! Нестерпимая ложь! От одной этой лжи можно задохнуться. Ждать смерти ребенка! Нет, мы так не будем. Мы будем по-другому. Твои страдания — это мои страдания. Это наши общие страдания. Это страдания всего мира. Я знаю, что тебе тяжело. Я знаю, что ты ничего не понимаешь. Тебе вечностью кажется каждая минута, ну ничего, ну подожди, ну покрепись. А ты знаешь, что жизнь бесконечна? Ты знаешь, что есть вечность? Что Бог есть. Улыбнись, мальчик. Ты знаешь, что твои страдания — страдания общие? И знаешь ли ты, что в страданиях спасается мир? Что страдания объединяют нас и открывают смысл жизни? А этот смысл заключается в том, что наше общее дело, общее для всех, — спасение всех. Мы друг с другом связаны воедино, мы неразрывны, мы отпустить друг друга ни на шаг не можем, у нас у всех одно призвание, и вся наша жизнь — как священнодействие. Не базар, не беготня по магазинам, не стадионы, — а священнодействие.

Приклоните ухо друг к другу, послушайте, как сердце страдает у каждого. Сегодня нет — завтра будет страдать, завтра нет — послезавтра будет страдать. А что — тяжело страдает? Тяжко! Но, крошка, крепись! Еще одно мгновение, ну еще одно мгновение, и все пройдет, и ты уйдешь в недра Господа, и там твое имя, священное имя твое — оно там раскроется в радости. И в славе Божией. Вот что надо сказать.

Ах, дорогие мои, так трудно сказать об этом! Вы знаете, когда пытаешься высказать то, что на сердце, высказать то, что откуда-то из самых глубин исходит, выражения, слова — очень бедные, и мало убедительные. Но ведь слова-то личность не отражают. Очень мало того, что можно было бы отразить. Но ведь чувства-то наши, разум, душа наша, все наше естество, —

куда все это устремлено? Устремлено к жизни, а не к смерти. И когда мы думаем: «Ты, мальчик, умрешь, мы тебя похороним», то мы в это время совершаем предательство по отношению к ребенку. Мы в это время совершаем предательство по отношению друг к другу и предательство по отношению к самим себе. «Нет, крошка. Еще мгновение одно — и ты будешь в недрах Божьих. И там ты будешь нас ждать. Как я жалею, что раньше тебя не ушел туда. Я так тебя люблю, и я вижу твои страдания. Ты маленький, у тебя чистое сердце, и ты меня там от моих грехов — ну что ли защитишь». Вот как надо. Нет, мы со смертью дружить не будем. Христианина это не достойно. Это самое постыдное. Не смерть торжествует, а торжествует жизнь. Жизнь во Христе.

Сын спрашивает меня: «Ну как же! Ты говоришь, что это жертва, искупительная жертва. Как же это так? Что же, Бог такую жертву принимает, и требует такую жертву?» «Бог никакой жертвы не требует, сынок мой. Она Ему не нужна. Она нужна нам самим. Потому что мы от Бога отделились в своей греховной жизни, и нам нужно преодолеть, очистить ту шелуху, которая на нас. Вот кому это нужно. А Богу это не нужно совсем. Он в любви нас создал. А нам такое испытание предстоит потому, что мы ведь сами вызвали его на себя. И чем больше невинных страдальцев взывают от земли, тем больше милость Божия изливается на нас». Сын говорит: «Отец, все то, что ты говоришь, меня взволновало. Но это непостижимо для моего ума». «Что делать, дорогой мой! Правду Божию нельзя сделать приятной для улицы. Правду Божию нельзя оземлить. Толпа плохо воспринимает ее. Она мало способна ее воспринимать». «Но что же делать?» «Исправить здесь ничего нельзя. Мы оглохли от страстей греховных. Они нас приглушили. Они создали для нас такой низкий потолок в жизни, что мы просто ходим скрючившись, а сами этого не понимаем. Мы как будто бодро ходим, а на самом деле мы скрючившись ходим. Вот нужно, чтобы толпа перестала быть толпой, а это возможно тогда, когда каждый обретет свое имя, священное имя, данное ему Богом. Не толпа, а люди, дышащие в Боге. Вот когда они свои имена найдут, тогда им откроется и путь познания Божественной Правды. Тогда и непостижимое станет постижимым. Тогда не будем мы с вами содрогаться от ужаса, стоя у кроватки страдающего младенца, а будем спешить, как бы нам впереди него встать. И там принять его на свои родительские руки.

Друзья мои, вы знаете, мы все — родители друг другу. Не только те родители, которые родили младенца больного и говорят: «Ну ладно, это такой, а вот второй будет хороший». Мы все — родители друг другу. И наша святая обязанность всегда идти к страдающим, для того чтобы их трудный путь смягчить. Да хранит вас всех Господь.

Спасибо.

## **Протоиерей Всеволод Шпиллер: Мой путь к Богу и в Церковь**

Свидетельства

Е. Ш.

Мой путь к Богу и в Церковь был долог и тернист. Передо мной то и дело вспыхивал яркий свет, но тут же тонкие и острые ветви-колючки впивались в меня и оставляли там же, в привычном и спокойном, даже уютном болоте устоявшейся жизни. И не хотелось прорваться сквозь эти заросли, и все было так, как у всех, и та же жизнь, и те же проблемы, и привычное «все так живут». Пятнадцать лет понадобилось для того, чтобы я осознала, что все, что со мной происходило, случалось не просто так, что те люди, с которыми мне доводилось встречаться —



от мимолетного знакомства и, казалось бы, пустой болтовни в ночном поезде до более серьезных и продолжительных встреч и знакомств, — тоже были не случайными попутчиками в моей жизни. Но чтобы понять это, потребовалась сильнейшая встряска, перевернувшая всю мою прежнюю жизнь...

Я выросла в обыкновенной семье, где никто не верил в Бога. Правда, бабушка рассказывала о своей дружбе с дочерьми курского священника, о том, как она в детстве не любила посещать богослужения, но когда ей было уже лет 8—9, началась революция, и этот вопрос разрешился сам собой. Она рассказывала также о прекрасном курском храме, в котором разместился кинотеатр «Октябрь» (слава Богу, уже несколько лет это снова храм, где идут службы!), о том, что она видела царскую чету, посещавшую этот храм во время визита в Курск. Для меня это была лишь частичка нашей истории.

В нашей семье часто произносили: «слава Богу», «Господи, помилуй», «не гневи Бога», но это были, скорее всего, дежурные фразы. Но откуда они? И что или Кто такой Бог? От меня лишь отмахивались. Отец не произносил этих слов никогда и сердился, когда слышал их от других.

Затем была школа, болтовня с одноклассниками и вывод, что над нами — Некто, Кто и есть Бог. Но что потом?..

Потом попытка поступить в институт и провал, работа и тут — встреча с замечательной бабушкой, избавившей меня от навязчивого страшного сновидения, она помолилась за меня. А мне бы обратить на это внимание...

Потом был институт, далее работа в Ровенской области, куда меня забросила судьба тоже не просто так. Там я, убежденная атеистка, впервые близко столкнулась с людьми, для которых Бог был всем в жизни. Я познакомилась с баптистами и православными христианами. И тогда я впервые осознала, что помимо той жизни, которой живу я, есть еще другая реальность, удивительная, непостижимая, странная...

Помню, как из чистого любопытства мы с подругой забрели во Владимирский собор в Киеве. Помню, как не могла перешагнуть порог деревенского деревянного храма, который даже фашисты не тронули. Но и растащить не растащили — жители села надежно спрятали все святыни. И вот тогда я стала задумываться — где же все-таки истина? И есть ли она? Думать-то думала, а выводов не делала. Наломала дров — каяться и каяться, да грехов в кармане не спрятать...

И вот я впервые прочла Евангелие. Конечно, по-своему, по-атеистически. Но кое-что запомнила. Здесь, в глубинке Ровенской области, я ближе всего была к Богу. Протяни руку — и Он взял бы меня, и повел бы как дитя. Нет, увы, я не осознавала того, зачем я была там.

Вернулась в Северодвинск, устроилась на работу. Все было, как у всех. И вдруг — встречаю мамину подругу, она захлеб мне рассказывает о встрече с Яроцким, об удивительных вещах. Биоэнергетика — ах, ох! Кто там не побывал, тот этого не попробовал. Кажется, весь город сошел с ума. Кого ни спроси — все на этих курсах. Пошла на курсы и я. Только не получалось у меня это. На свечу смотрю, с ней «работать» надо, а я храм сельский вспоминаю. Молитвы-заговоры записываю, а там «очеретан-болотан» — как у древних славян. Нет, не то что-то. И опять все на круги своя. Но «призадумалась».

А потом — совершенно невероятное и непредсказуемое замужество, рождение слабого, хилого ребеночка, постоянные скандалы с мужем, уходы домой — то мои, то его. Не жизнь, а мука. А потом — грипп, которым заболел и мой кроха. Температура — градусник зашкалило. Судороги.

Хватаю телефон, набираю 03 — линия свободна! Сделала вызов, не успела договорить — в дверях врач: «Где?» — показываю, куда идти, а сын уже дугой — и хрипит. Вот тут-то я по косяку и на пол съехала. Помню только, как брат меня с пола поднимает, а сам разовые шприцы один за другим врачу подает. А я опять съезжаю, и повторяю: «Господи, помоги!» Вытащили моего сына. Сомнений у меня не осталось.

Этим же летом я поехала к родителям в Вязьму, крестилась сама и сына крестила в соборе Святой Троицы, у отца Леонида. Удивительный человек! Мы беседовали с ним больше часа — пролетел как одно мгновение. Тогда, в девяностом, он сказал, что в Северодвинске будут строить храм, настоящий, не просто молельный дом, что церкви нужны люди знающие, думающие. Мало креститься при малейшем знании о Боге. Надо изучать Слово Божие. Тогда я не вполне поняла, о чем он говорил. Но в душу это запало. Только сейчас я начинаю осознавать смысл сказанного им.

Когда мне было особенно тяжело, я читала Евангелие. В храм старалась приходить вместе с соседкой, которая растолковывала мне, что к чему. Если была без нее, то спрашивала и приглядывалась. Но этого было так мало!

А потом я узнала о заостровском храме и огласительных встречах. Тоже не случайно, тоже не просто так. Откликнувшись на внутренний голос, я пришла к своей знакомой, у которой не была целый год. Я застала ее за чтением Библии, что меня искренне удивило. И услышала от нее то, о чем думала и мечтала столько лет.

Нам всегда настойчиво внушали, что чудес не бывает, что человек — сам творец своей жизни и своего счастья, и мы привыкли не замечать ни чудес, ни счастья, привыкли к мысли, что сами всего добиваемся и сами крепко стоим на ногах. И как часто не замечали, что ноги-то наши глиняные, а на глазах — темная повязка, через которую все видится серым...

Нет, нет и еще раз нет! Как жаль, что поняла я это так поздно! Чудо есть, и счастье есть, и радость есть, и смысл присутствует даже в рутинной, обыденной жизни. И имя Ему — Бог. Только Он ведет нас к свету, чуду, радости. Это Он дает нам то, чего мы хотим, это Он помогает нам тогда, когда не в состоянии помочь никто, когда все бессильны.

Я счастлива, что встреча эта состоялась. И как я боюсь, что не дотянусь и рука моя выскользнет! Поэтому непрестанно молюсь: Господи, не оставь меня, грешную! Укрепи веру мою!

Т. Л.

Родилась я в семье неверующих. Мне не было еще и года, когда меня крестил наш приходской священник дома, втайне от папы, когда тот был на работе.

Еще в школе я задумывалась о Боге, о церкви. В храм меня тянуло уже тогда, но учителя не разрешали нам даже близко подходить, велась ярая атеистическая пропаганда.

Однажды, будучи пионеркой, я нашла дома свой крестильный крестик, надела его и носила. Помню ощущение какой-то внутренней теплоты и радости. Потом подружка увидела, пристыдила, и крестик я сняла.

Закончила школу, училище, поступила на работу, вышла замуж, родила детей. В церкви бывала очень редко, хотя туда тянуло. Но то было некогда, то не с кем пойти, а одна ходить в храм я почему-то стеснялась. Молиться не могла и не умела, считала себя неверующим человеком.

В семье у нас все шло хорошо. Жили дружно, размолвки случались редко. Муж закончил институт, стал работать, так что и материально мы себя обеспечивали, да и родители нас не забывали. Кажется, живи да радуйся, но внутри меня сидел огромный страх за любимого человека. Мужа я любила больше всего на свете, даже больше детей, и очень боялась потерять его. Я решила, что нам надо венчаться. «Кого Бог сочетал, человек да не разлучает» — я не помню, где прочла эту фразу тогда, но в голову мою она вошла крепко.

Муж мой, человек неверующий, некрещеный, в церковь никогда не ходил. Но чтобы не огорчать меня, на предложение креститься и венчаться дал согласие. Летом 1992 г. муж и дети крестились, а осенью, в день 10-летия нашей совместной жизни, мы венчались. В тот день я чувствовала себя самой счастливой женщиной и не понимала, какую беду навлекла на себя и на дорогих мне людей — на свою семью.

Несчастья, болезни, неприятности посыпались на нас. Не успевали мы оправиться от одного потрясения, как тут же нас настигало другое.

Муж стал выпивать. Я заболела, слегла. Врожденная болезнь суставов обострилась, и мне пришлось уйти с работы. Муж пил все больше. Попав в аварию, разбил машину — и запил еще сильнее. Сын сломал руку — месяц лежал в больнице. Я разрывалась на части, не могла понять, почему все так, за что мне такое наказание. Было жаль мужа, детей, больно и обидно за себя. Семья рушилась. А я не находила ответа. Состояние мое было ужасным. Постоянное нервное напряжение дало о себе знать: я стала плохо слышать. Муж жил своей жизнью, мы ему были безразличны. Дети меня не слушались, плохо учились. Мне казалось, что я всем только мешаю, что никому не нужна. Меня уже ничто не радовало, я думала лишь об одном — навсегда уйти из этой жизни. Я даже пыталась это сделать, но какая-то сила удержала меня.

Надо сказать, что в моей жизни есть еще один дорогой человек — моя школьная подруга. Именно благодаря ей я прошла через все эти муки и выжила. А тогда она мне сказала: «Нельзя любить мужа больше, чем Бога». Сначала я не могла понять, о чем она говорит. Какой Бог? Муж — он вот, рядом, самый любимый и родной для меня человек. А Бог? Где Он? Да и есть ли Он вообще? А может, это все бабушкины сказки? О каком Боге толкует моя неверующая подруга?

И все-таки слова эти запали мне в душу, не давали покоя. Однажды в субботу я пошла в церковь, поставила свечи, отстояла службу. На обратном пути зашла к родителям, попросила у мамы Библию (она ее купила, но никогда не читала), пришла домой и стала читать. Начала, как обычно, с первой страницы, ничего не понимала, возвращалась назад и все-таки продолжала читать...

В ту ночь впервые за много-много месяцев я уснула спокойным, добрым сном. С того вечера с Библией я уже не расстаюсь. Стала чаще посещать храм и узнала, что в нашем приходе проводятся огласительные беседы для таких, как я. Теперь я просто живу этими встречами, жду их. Они дают мне очень много: моя душа оттаяла, ожила. Я стала совершенно по-иному воспринимать окружающий меня мир и, совершив прежде очень много ошибок, стараюсь теперь быть лучше.

Я счастлива, что не свернула с дороги, ведущей в храм, к Богу. Теперь с уверенностью могу сказать: я — верующий человек.

# Протоиерей Всеволод Шпиллер: Открытая встреча. Рождество 1997 г. (продолжение)

Миссионерство и катехизация

Первая миссионерская «открытая» встреча в Огласительном училище при Свято-Филаретовской московской высшей православно-христианской школе (январь 1997 г.)\*

\* Продолжение. Начало см. «Православная община», № 40.

Дмитрий Гасак

Так случилось, что мы собрались сегодня, в праздник Богоявления, и говорим мы о Богоявлении, и вначале о. Георгий говорил о том, что действительно очень часто не мы идем к Богу, а наоборот, Бог идет к нам, и всегда Господь к нам оборачивается. Я подумал, что, наверное, в моей жизни тоже было так: в какие бы ямы я ни попадал, Господь всегда был рядом, Он всегда оборачивался, несмотря на то, что ты Его как бы не знаешь. Но всегда остается какая-то надежда. Иначе, как бы мы ни падали, нам просто не подняться. У человека нецерковного, как было некоторое время назад со мной, все равно остается надежда на то, что ты поднимешься, что ты пойдешь. И вот эта уверенность у меня была, и еще была уверенность в том, что есть какое-то начало этой жизни, какой-то фундамент, встав на который, можно жить, можно жить открыто, ничего не боясь, что, конечно, очень трудно, особенно в наше время, хотя жить открыто и ничего не боясь, т. е. свободно, было трудно, наверное, во все времена. Но когда встречаешь Бога, когда узнаешь, что Бог есть Свобода, Бог есть Любовь, реальная, подлинная, тогда страх постепенно начинает исчезать, появляется возможность с ним бороться и побеждать его. И вот, тогда появляется этот путь — путь жизни, путь правды, путь реальной, открытой любви, и есть возможность на него встать и идти. И есть возможность не попадать в те ямы и в какие-то безвыходные ситуации, когда у человека просто не хватает сил, когда он теряет надежду и наступает отчаяние. Когда встречаешь Бога и когда к Нему сам немножко как-то поворачиваешься и чувствуешь Его поддержку, действительно появляются какие-то силы. Господь дает силы побеждать страх этот и несвободу.

Владимир Петров-Кириллов

Удивительно интересно слушать. Особенно людей, которые личным опытом пришли ко Христу. Меня очень поразило выступление Галины Серовой\*\*. И каждое выступление, каждое свидетельство — это личный опыт общения со Христом. У меня такой опыт тоже был, и есть, и я надеюсь, что будет вот это ощущение полноты и необъяснимого счастья от присутствия Бога в тебе.

Я вспоминаю случай из своей биографии, когда я пришел к вере. Я был еще мальчишкой, где-то на задворках собралась группа других мальчишек и девчонок. Вдруг какая-то девочка, такая бойкая, начала очень активно всех спрашивать: «Ты веришь в Бога?» Ну, это было лет в 5 или 6. Не скажу, что семья моя (я жил с мамой вдвоем, отец погиб) была верующей, но я тогда четко сказал: «Я верю в Бога». И вот эта фраза — она всегда как бы держала меня в этом, я действительно всегда верил. Господь не раз спасал меня в путешествиях, как мне кажется. Просто я не всегда был воцерковлен. Это в последние годы я понял, что верить просто так, самому, как многие говорят: «Я верю сам в себе», только кажется удобнее. Без Церкви, конечно же, веры нет. И вот до меня выступавшие братья и сестры говорили о том, что когда Господь к ним пришел — какое это счастье, какая это радость, как Он во всем помогает! Да,

это действительно так. Но я, при моей такой очень счастливой, я бы даже сказал, процветающей жизни, когда я был, может быть, таким довольным и самодовольным, все у меня хорошо получалось, оказался вдруг в такой ситуации, когда стал страдать, стал скорбеть, и вначале очень растерялся. Ну, начал молиться, читать святых отцов. И вот, я хочу сказать, что именно страданиями и болью, которые я ощущаю, переношу, я вдруг познал радость слова Господа ко мне. Вот читаешь просто написанную фразу: «кого Бог наказывает, того любит» или «страдания во благо» — и понимаешь, что это все так. Переживая это, я могу назвать себя счастливым человеком, потому что страдания меня очищают. Если бы этого не было — то к чему пришел бы, к чему иду? Оказавшись в такой ситуации, я очень верю, что Он меня любит, что Он меня не оставляет, даже вот так встряхнув, но придав силы. Не всегда бывает так, что Господь только на ручках нас держит и помогает, и мы молимся, и просим, и Он дает. Иногда счастье познания, как у меня лично, приходит через страдание, за что я очень благодарен. Вот такой короткий у меня рассказ.

Ольга Черенкова

Сегодня о. Георгий говорил, от чего люди живут, от чего люди умирают. Проследив свою жизнь, я могу сказать, что всегда жила тем, что кого-то безумно любила. Маленькая — отца, большая — всех: учительницу, друзей, в конце концов, детей своих, учеников. Дети выросли, ученики тоже выросли, и я обнаружила, что самое главное в жизни исчезло. И вот, помню, мы сидели за столом, и муж спрашивает: «Ну вот как бы ты хотела жить?» Я говорю: «Так, чтобы не думать о том, что завтра снова нужно прожить еще один день». Это был предел моих мечтаний — думать ну по крайней мере без напряжения, без недовольства о том, что еще один день надо прожить. И вот однажды, когда к тому же еще что-то случилось в семье, я вдруг обернулась и поняла, что никого не люблю: ни мужа, ни детей — никого! Это было что-то страшное и ужасное. Просто шок! Но жизнь надо было как-то продолжать. И тут братья-протестанты меня попросили перевести одну книжечку с английского языка на русский. Там было много цитат из Библии. Я говорю: «Ну раз цитаты, значит, нужен канонический текст. Дайте мне, пожалуйста, Библию». Мне дали. Я прочла буквально: «День творения: первый» — и поняла. Это было для меня первое Богоявление. Такой книги, ничего подобного на свете больше не существует, что можно было бы сравнить с Библией. Это было потрясением, действительно — первое Богоявление. И вот каждый вечер летом на даче, после работы в огороде, я читала Библию. В какой-то день ложусь — и чувствую, что есть Кто-то, Кому я необыкновенно интересна. Я уже не интересна детям, у них другие интересы, и мужу не интересна, а вот Ему интересно, что там со мной, Он знает обо мне то, чего не знает никто. И вот я лежу лицом в подушку и рассказываю Ему. Вот так мы иногда встречались.

А потом — тяжелая болезнь мамы, ее смерть, и т. д. — и я вообще не понимала, откуда силы берутся. Только помнила, что у нас были такие встречи. Наверное, Он мне и помогает. И вот тогда Он мне помогал, помогал, и к о. Георгию привел. А так как я считала, что помогает только Он, то, собственно говоря, на открытой встрече можно слушать, что о. Георгий говорит, а можно и не слушать. Суть дела не меняется (смеется). С этим я пришла на оглашение.

И только пройдя оглашение, когда дело шло уже к концу, я вдруг поняла, к огромному стыду, что все время пользовалась тем, что Он меня любит. И Он меня не обманывает. Прошло три года. И я убедилась в том, что Он только тогда «обманывает», когда я от Него отворачиваюсь, когда начинаю думать, что Он где-то далеко, а я — здесь. Вот тогда начинаются всякие непонятные и нехорошие вещи, которые заставляют вспомнить о Нем. И просишь, чтобы Он вернулся, когда уже так изранено все, когда ты на последнем пределе. И сердце снова по-настоящему раскрывается, и оказывается, что все дело в тебе. Он ни в чем не обманывает и помогает снова. Я хотела сказать вам об этом.

\*\*\*Я впервые дерзнул так выступить, и хочу сказать о вещах серьезных. В моей жизни вроде бы все было в порядке — папа и мама меня любили, но что-то все-таки было не так. У меня было ощущение, что мне хочется чего-то большего. И тогда я пришел в церковь — не в храм, где служит о. Георгий, а в церковь на Маросейке. Там я почувствовал, что действительно здесь есть жизнь. И этой жизнью я жил больше года, понимая, что я очищаюсь — это было явное ощущение, заметное и по другим. Я избавлялся от раздражительности, от зависти, от какой-то мелочной суетности. Но в какой-то момент я решил, что этого достаточно. Я сравнивал себя не с церковными людьми, а с теми, кого встречал на улице, на работе, и мне казалось, что на их фоне я выгляжу совсем неплохо. И, видимо, это и есть то, что дает Церковь, потому что я чувствовал, что люблю вроде бы всех.

Но я ушел из церкви, перестал причащаться, перестал исповедоваться. Я думал, что церковь для меня — это необязательный этап, что он уже закончился, и дальше ничего больше не нужно — я могу помогать другим. Я даже стал начинающим экстрасенсом. Мне казалось, что я помогаю людям, когда участвую в их исцелении, в разрешении их серьезных проблем, в 95% случаев я помогал им. Но с течением времени я стал понимать, что вместо того, чтобы развиваться, я, наоборот, деградирую. У меня возникало чувство превосходства — вот, кому-то опять нужна помощь, а мне это становилось неинтересным. Как говорил дедушка Алеши Пешкова: «Эх, люди!..» Такое пренебрежительное отношение у меня было до последней осени. Но Господу было угодно свести меня с девушкой, которая стала моей женой и которая проходила оглашение. И она открывала мне пользу оглашения. Я понимал, что в ней появляется что-то такое, чего не было раньше, — такой я ее никогда не видел. Она говорила: «Ты находишься в искушении. Все не так, как ты думаешь». И далее слова были такими, что я понимал: она этого знать не может, этого чувствовать не может, этого не переживала, переживать не могла. Более того, она говорила мне то, что в глубине себя знал только я — никто больше. Она отвечала на мои мысли, на мои сомнения. А я был в очень тяжелой ситуации, мое сердце твердило, что она права, что я на самом деле деградирую. И когда в какой-то момент я сделал выбор, то пришло ощущение свежего ветра в лицо и возможность такой дороги, которая ведет вперед и вверх. И я вернулся в церковь, вернулся к о. Николаю. А главное — я понял: для того, чтобы снова не попасть в такие ситуации, нужно Богопознание, Богообщение настоящее. То, что было двадцать веков в церкви. Я потом удивлялся, как все это я мог отвергнуть?

Я вернулся в церковь, вот иду на оглашение, понимаю, что мне это нужно, просто необходимо для того, чтобы жить дальше.

Елена-Милена Королева

Сегодня удивительный день, о. Георгий об этом говорил, Галина говорила тоже, и братья и сестры, которые выступали до меня, тоже об этом говорили. Сегодня праздник Богоявления, и мне бы хотелось сказать, что действительно Бог — Он всегда первый нас призывает, первый к нам обращается.

Ровно пять лет тому назад мы с мамой крестились в праздник Крещения Господня. Причем, это крещение было для меня, да и в общем для мамы тоже, абсолютно не сознательным. Но это было какое-то чудо. Наша соседка сказала как-то: «Вы до сих пор некрещенные, надо креститься». И мы поехали в церковь, естественно, не позавтракав. Помню, было очень холодно, пурга, в храме полно народу, жарко, все стоят за крещенской водой, и вообще, не понятно, что там происходит. Я говорю: «Мам, пошли отсюда, я есть хочу». Потом смотрим, там рядом какая-то как будто сторожка. Мама пошла туда. Знаете, в Евангелии написано: «Стучите — и вам откроют». И мама стала стучать в дверь, ей открыла какая-то женщина. Мама ей объяснила, в чем дело. Женщина сказала: «Крещение-то уже началось, но вы проходите».

Мы прошли, и крещение вдруг остановили. Ну как это можно? Остановить крещение! Но это было. Батюшка остановил крещение! Мы с мамой и еще несколько младенцев покрестились, на нас надели крестики. И когда мы вышли, у меня было такое ощущение, что произошло какое-то чудо, я не понимала, что случилось, зачем все это было. Только ощущение чуда, что произошло что-то удивительное — это было во мне.

Но потом наша с мамой жизнь покатила куда-то резко вниз, так резко, что хоть «караул» кричи. И я никак не могла понять, в чем же дело. А потом постепенно осознала, что я отнеслась к крещению просто как к обряду, жизнь моя осталась той же, ничего не изменилось. Вся проблема была во мне. В Боге проблем нет, все проблемы — в человеке. И тогда моя мама стала за меня молиться. Помню, поначалу это меня очень раздражало и злило, потому что она не скрывала, что молится за меня, я видела это, она уходила в комнату, и мне постоянно хотелось сказать ей что-нибудь такое: «Мне не нужны твои молитвы, прекрати». Но, слава Богу, она не прекратила, продолжала молиться. И действительно совершилось чудо, чудо, которое хотелось бы, чтобы произошло и с каждым из вас. Ведь в жизни с каждым из нас происходят чудеса, просто мы их не умеем замечать. Богоявление происходит каждый день, потому что каждый день Господь с нами, и если мы не будем отворачиваться от Него, а сами сделаем шаг навстречу Ему, то Он готов нас принять.

О. Георгий. Вот, некоторые, как это всегда бывает, уже покидают встречу. Но наверное не потому, что они хотят уйти вообще, а просто сегодня им достаточно. И для таких я хотел бы сказать, как, впрочем, и для всех остальных, что следующая встреча такого рода, не повторение, а продолжение ее, будет ровно через две недели, здесь же, в это время, тоже в 4 часа. Мы будем отвечать на вопросы и говорить о том, что такое оглашение для тех, кто хочет идти дальше после вот таких ознакомительных, как бы постановочных «открытых» встреч. Среди вас много тех, кто хотел бы последовательно и целостно познать христианскую веру и жизнь и приобщиться к вере и жизни христианской, и потому это называется оглашением. И мы будем говорить уже об этом, о существовании дальнейшего периода.

Вы, конечно, видите, что зал здесь не очень маленький, но сегодня он переполнен, и поэтому я бы хотел попросить вас не приглашать новых людей, кроме, может быть, крайних случаев, когда ну совсем нельзя не пригласить человека. Но если можно перенести хотя бы на четыре месяца, когда у нас будет начинаться следующий цикл, это было бы лучше. А мы с вами продолжали бы наш цикл. Итак, если кто-то из вас устал или желает уйти, не стесняйтесь, ради Бога, пожалуйста, почувствуйте себя, повторяю еще раз, совершенно свободными. А те, кто хочет получить ответы на свои вопросы или послушать продолжение нашей беседы, пожалуйста, пишите их или задавайте устно. Мы будем на них отвечать.

Вопрос. Вот такая записка. Что означает «Бог есть Любовь, Бог есть Свобода? Что означает Свобода, в чем она?

О. Георгий. Это очень сложные вещи. Когда я об этом говорил, то специально не давал никаких определений, специально попытался поставить эти вещи в определенный контекст, как бы помогая вам из этого контекста выудить то понятие, которое я вкладываю в эти слова, которое нужно вкладывать, делая противопоставления, необходимые в этом случае. Поэтому я говорил, что есть любовь, что называется любовью в том, другом смысле, в третьем смысле и т. д., говоря так же и о свободе. Конечно, здесь можно было бы теоретизировать, как-то пытаться разобрать основные понятия, и это было бы нормально. Конечно, сложно было бы сказать, что есть свобода духа. Вот есть свобода душевная, свобода воли, есть свобода падшая, свобода как произвол — что хочу, то и ворочу, когда меня ничто не ограничивает. Это тоже свобода, но не та свобода, о которой говорится: «Бог есть Свобода» и о которой сказано: «Где Дух Господень — там Свобода». О свободе нельзя говорить в терминах таких вот определений, нельзя

объективировать эти вещи, нельзя их воспринимать как предмет изучения. Или свобода есть, или свободы нет. Или любовь есть, или любви нет. Когда мы говорим в контексте о любви и о свободе в отношении к Богу, то мы ожидаем, что у вас у всех есть опыт: с одной стороны, положительный, а с другой стороны, отрицательный, который позволяет отталкиваться от каких-то ошибок на пути к любви и свободе. Каждый человек что-то понимает в любви и в свободе, даже если он не дает этому никаких определений. По моему глубокому убеждению, нельзя дать определения любви, потому что это означало бы дать определение Богу. Можно что-то описать, можно поделиться своим опытом, можно как-то попытаться осознать действие духа любви, духа свободы, ибо то и другое — прежде всего дух. Но это не будет все-таки определением. Когда Писание нам говорит: «Бог есть Любовь», никаких определений за этим не следует. Когда Христос говорит, что «нет больше той любви, как если кто душу свою, жизнь свою положит за друзей своих», — мы понимаем, о какой любви идет речь, хотя тоже никаких определений не дается. Когда говорится, что человек, познавший любовь, познал Бога, — мы тоже понимаем, что здесь имеется в виду не чувственная, такая вот эмоциональная сфера любви и не некая телесная любовь. Таким образом, в каждом из нас есть этот опыт любви и свободы, и мы должны, наверное, вслушаться в свое сердце и взглядеться в свою жизнь. Тогда мы начнем что-то здесь понимать. Даже не дав определений. Нет определений Богу, поэтому нет определений любви, нет определений свободе. И никогда не будет! Дать определение Богу, любви и свободе — значит стать самому выше этих вещей. А это невозможно.

Вопрос. Что такое оглашение?

О. Георгий. Оглашение — это и есть такое вот целостное и последовательное научение христианской вере и последующей жизни. Вот об этом мы и будем подробнее говорить в следующий раз, еще подробнее — на третьей «открытой» встрече этого цикла, для того чтобы те, кто пойдет на оглашение, могли уже идти на него, зная, куда они идут. Оглашение — от слова «глас», это целостное научение, наставление на путь веры и жизни. Устное. Нельзя просто начитать книги, даже если это Библия, и стать, скажем, христианином, так нельзя воспринять полноту традиции, полноту церковного предания и писания. Никак нельзя. Что-то передается только, знаете, лицом к лицу, от глаз к глазам, от уст к устами. В духовной жизни это принципиально важно. Ведь, в конце концов, о том, что мы вам говорили в области информационной, можно было бы все-таки найти какую-то соответствующую литературу и просто вам ее порекомендовать. Зачем вам сидеть вместе столько часов? Но мы много лет регулярно ведем такого рода встречи, и должен вам сказать, что само главное действие, действительно, не в том, что говорится. К сожалению, опыт показывает, что все это очень быстро забывается, какие бы замечательные слова ни говорились. Пройдет какое-то время, и останется только общее ощущение, духовное ощущение. Но ради этого духовного ощущения и вы приходите, и мы приходим сюда. И это убеждает — подлинность жизни, подлинность опыта. А уже потом к этому добавляются вещи, требующие осмысления жизни. Да, христианство должно приводить человека к полноте духа и к полноте смысла. И то, и другое ужасно разрушено в наше время. Ужасно разрушено! Но жажда духа и смысла не прекратилась. Слава Богу, она существует во всех наших современниках, даже тех, которые уже давно как бы перестали интересоваться церковью, или даже никогда не интересовались, или еще не интересовались. Не знаю. Но эта жажда есть. Поэтому всегда можно найти общий язык — я глубоко в это верю — с любым человеком, если он не потерял какой-то человеческий опыт, не умер духовно, по меньшей мере духовно. Ну, об оглашении, как я уже сказал, мы еще будем вести речь.

Здесь много вопросов по Писанию. Это говорит о том, что вы уже читаете Библию, пытаетесь разобраться или слышали где-то, может быть, по телевизору, по радио, может быть, еще как-то, может быть, с кем-то вы общаетесь из тех, кто любит читать Священное писание. И, может



быть, мы будем попеременно делать так: какой-то вопрос по Писанию, потом общий вопрос из жизни. Ну вот, давайте немножко к житейским вопросам обратимся, на самом деле имеющим духовное значение. Это не светские вопросы, не мирские вопросы, это такие же духовные вопросы.

Вопрос. Как поступать родителям, если дети ссорятся, даже иногда дерутся между собой? Интересно, что зачинщику всего два с половиной года. (Смех.) Делает он это все от скуки. Ну и, видимо, второй вопрос этой записки прямо связан с первым. Нужно ли подавлять вспышки гнева? Как поступать, если не можешь справиться с ними?

О. Георгий. Надо полагать, что второй вопрос — это некий жизненный ответ на первый. Как поступать, когда дети ссорятся? Вот так, надо после этого подавлять вспышки гнева. Ну, конечно, плохо, когда нас обуревают гнев. Почему? Не сам по себе гнев — зло, гнев — это обычный человеческий аффект, а зло — только то, что мы вместе с гневом допускаем в свою жизнь: всякого рода неразумие, озлобление, осуждение, жестокость. Иногда — вплоть до садизма. Пытаемся мстить, обижаемся. Иногда сквернословим, и т. д., вплоть до рукоприкладства и прочих самых неприятных вещей. Вот такой гнев, конечно, «не творит правды Божией», как сказано в Писании. И гнев нужно сдерживать. Но как? Я бы сказал сразу правду — молитвой. Если вы будете в себе просто подавлять какие-то аффекты, на самом деле, во-первых, вы все равно их не подавите, все равно это где-то вылезет, а если и подавите — добрее от этого вы не станете. А проблема-то не в гневе, а в том, что через него наша греховность и наше зло проявляются, зло нашего сердца. Нужно бороться со злом, а не с психологическими аффектами. Поэтому, когда дети ссорятся, ну, во-первых, надо создать другую атмосферу дома, чтобы она была спокойнее и молитвеннее, чтобы было куда уйти ребенку. Ребенок тоже должен какое-то время находиться в покое. Не должны быть все время включенными телевизор или радио, или вестись какие-то бесконечные, нескончаемые пустые, но, естественно, — на умные темы, разговоры. Вот этого быть не должно. Дом должен быть еще и домом мира и покоя. Не того, о котором так долго говорили большевики, а настоящего мира и настоящего покоя. И это одинаково нужно и взрослым, и детям, потому что, к сожалению, зачинщиками в ссорах далеко не всегда оказываются только дети, но часто и взрослые. Только это еще хуже. И не только от скуки, но и от того, что есть в этой жизни какая-то бессмыслица, пустота, которые надо преодолевать. Вот наполненность эту и дает живой дух, Святой Дух, благодать, дар Любви. Благодать в переводе на русский язык, как вы знаете, означает «дар Любви». Ну и, конечно, если вы где-то сорвались, все-таки покайтесь, попросите друг у друга прощения, попросите прощения и у Бога. Даже если начали не вы, даже если главная неправда не за вами. Все равно признайте себя виноватыми, признайте то, что вы, хотя и спровоцированы злом извне, но и сами стали источником зла. Вот так.

## **Протоиерей Всеволод Шпиллер: Литургическая реформа: Дебаты. В. Жардин Грисбрук. Литургическое богословие и литургическая реформа: некоторые вопросы**

Богослужение и таинства

Комментарии Дома Ботта «О литургическом богословии» и «Краткий ответ» на них отца Александра Шмемана поднимают так много важных вопросов, что остается только надеяться, что диалог этих видных ученых-литургистов продолжится, и они еще не раз поделятся с нами своими мыслями по этому предмету<sup>1</sup>. В особенности приятно читать расширенный вариант ответа о. Александра Шмемана на вопрос, поставленный Домом Боттом в последнем параграфе его комментариев.

«Задача литургического богословия, – пишет Дом Ботт, – заключается в том, чтобы вернуть наиболее важное и поставить второстепенное на свои места. Подразумевает ли это литургическую реформу? Именно этот путь был избран в случае с римской литургией. Возврат к основополагающим принципам привел к «чистке» и к новому творчеству. Было обнаружено, что жесткие формы перестали соответствовать как смыслу литургии, так и нуждам христианского народа. Возможно ли и подобное изменение византийской литургии и желательно ли оно? Я не могу дать компетентного ответа на этот вопрос. Здесь ситуация отличается от ситуации с римской литургией, где «рубрики» имеют абсолютную жесткость. Восточная церковь всегда сохраняла некоторую гибкость, хотя свобода византийского предстоятеля не беспредельна. Нуждается ли Восток в реформе? Настало ли для нее время? Колебания и сопротивление тут очень понятны. Римская реформа готовилась около половины столетия, но до сих пор можно поставить вопрос – не слишком ли быстро развивались события? Изменения были слишком внезапными, и эта мания экспериментаторства выливалась то здесь, то там в анархию. Понятно, что такой опыт питает колебания восточных. Незрелые и односторонние реформы могут принести больше вреда, чем пользы. И тем не менее – должна ли идея реформы быть окончательно отвергнута? Не должно ли литургическое богословие подготовить фундаментальные принципы такой реформы, которая уважала бы Предание и следовала бы ему? На этот вопрос отец Александр Шмеман может ответить более квалифицированно».

«Что касается необходимости литургической «реформы» в Православной церкви, отвечает отец Александр Шмеман, то мне кажется, что эта идея должна быть проработана. Поскольку если что и было доказано лихорадочными реформами и изменениями на Западе, то только то, что сами по себе и сами в себе они не могут достичь того, что представляется их целью. Литургия – это живое предание, и здесь хирургическое вмешательство – метод неподходящий. Прежде всего нам нужно понимание этого предания, понимание «сущности» литургии. Это понимание, как только оно будет достигнуто, само приведет – органически – к необходимой чистке и изменениям, но все это произойдет без разрыва целостности, без какого-либо кризиса. Несмотря на глубоко укоренившееся общее представление, литургия всегда меняется, потому что она живет. Одно из различий между западным и восточным менталитетом заключается в западной вере в планирование и реформирование сверху. Да, конечно, наша литургия несет в себе много несущественных элементов, много «археологических» пережитков. Вместо того, чтобы осуждать их во имя литургической чистоты, мы должны постараться раскрыть *lex orandi*, который ни один из этих случайных элементов не смог затмить. Таким образом, настало время не для внешней реформы, но для богословия и благоговейного черпания вновь и вновь из вечных и неизменных источников литургического предания».

Этому последнему параграфу, как мне показалось, не хватает той логики и прозрачности, которые как правило отличают все, что пишет отец Александр Шмеман. Я всецело согласен с тем, что «если что и было доказано лихорадочными изменениями на Западе, то только то, что сами по себе и сами в себе они не могут достичь того, что представляется их целью. Литургия – это живое предание, и здесь хирургическое вмешательство – метод неподходящий. Прежде всего нам нужно понимание этого предания, понимание «сущности» литургии». Но я не в состоянии проследить дальнейший ход его рассуждения.

Кем должно быть достигнуто это понимание литургического предания? Вероятно, всеми верными, равно клириками и мирянами. Какими средствами это должно быть достигнуто? Очевидно, через научение – духовное и интеллектуальное – тем меньшинством, которое уже просвещено или просвещается; т. е. теми учеными-литургистами, которые достигли понимания предания (или находятся в процессе его постижения), а впоследствии теми, кого они научат: «мы должны постараться раскрыть *lex orandi*, который ни один из этих случайных элементов не смог затмить».

Не обнаружит ли сразу же каждый литургически образованный приходской священник, – а на практике в основном именно на таких священников ляжет эта задача – стараясь помочь своей пастве на этом пути, что эти «случайные составляющие» смогли «затмить» *lex orandi*? Если же они не смогли, то почему возникло такое непонимание, зачем нужно вновь раскрывать утерянный смысл?

Является ли сам *lex orandi* чем-то настолько слабым, что его понимание или непонимание целиком зависит от внешних по отношению к нему влияний? Если это так, то об «органическом» восстановлении правильного его понимания не может быть и речи: как еще может быть тогда достигнуто это понимание, если не посредством «внешней литургической реформы»? Если же это не так, то как это восстановление может быть достигнуто, если не через исправление того, что было искажено в самом *lex orandi*? И как тогда мы можем говорить о «неизменных источниках литургического предания»? Или же эти источники являются внешними по отношению к *lex orandi*, и если это так, то что же именно они из себя представляют, и как *lex orandi* с ними соотносится? Возможно ли восстановить истинное литургическое благочестие, не убрав из самой литургии те искажения, которые были внесены в нее из-за упадка этого благочестия во времена позднего Средневековья? Если нет, то «внешняя литургическая реформа» необходима уже совсем в другом смысле, не правда ли? Если же это возможно, то можем ли мы вообще после этого говорить о *lex orandi*? Не будет ли это, пользуясь проницательным выражением Дома Ботта, сведением самой литургии к случайному «протоколу общественных отношений с Богом»? Что есть «литургическое богословие» и «литургическое благочестие», если не богословие и благочестие, основанные на литургии? И как они могут быть восстановлены или возрождены, если не через восстановление или возрождение полноты самой литургии? Конечно, эти два процесса идут рука об руку, но должно ли это движение быть обязательно двусторонним?

Возьмем простой пример. Предположим, приходской священник хочет привести своих прихожан к действительному пониманию значения «малого входа» – предмета, о котором о. Александр Шмеман так проницательно и поучительно писал в других своих публикациях. Как же он (священник) может это сделать, не указывая на недостатки современной формы «малого входа» – не «осуждая их во имя литургической чистоты»? Как он может это сделать, не осознав и не призывая других осознать тот факт, что историческое развитие привело к такому затемнению *lex orandi*, что теперь он почти неразличим? И придя к подлинному и духовно значимому его пониманию, будет ли он и его паства удовлетворены, по-прежнему совершая богослужение в его бессмысленной упадочной форме?

Нет, очевидно нет, но они не должны ничего делать в поисках изменения, потому что это изменение произойдет не путем «внешней литургической реформы», являющейся результатом «планирования и реформирования сверху», но «органически». «Понимание *lex orandi* приведет – «органически» – к необходимой чистке и изменениям, но все это произойдет без разрыва целостности, без какого-либо кризиса».

Что именно это значит? Это звучит впечатляюще, но что это значит, что это будет означать на практике? Может ли изменение не быть изменением? Если же нет, то чем оно может быть,

если не «разрывом целостности» в каком-то смысле и какой-то мере? Если же отец Александр Шмеман имеет в виду под «разрывом целостности» что-либо другое, то что именно? Имеет ли он в виду под литургической реформой реформу столь коренную по типу и столь большую по влиянию, что она приведет к полному перевороту *lex orandi*? Если да, то как он представляет себе осуществление этого? Имеет ли он в виду литургическую реформу, которую некоторые люди будут воспринимать как полный переворот? Если да, то почти неизбежно, что любая мера по осуществлению реформы где-то обязательно будет рассматриваться именно так. Не приведет ли это неминуемо к какому-то «кризису», независимо от того – где, кем и каким образом эта реформа будет начата или осуществлена?

И где, кем и каким образом она может быть начата и осуществлена? Не путем «реформирования и планирования сверху», но «органически». Я еще раз спрашиваю, что же именно означает «органически»? Означает ли это, что однажды утром все прихожане проснувшись, обнаружат, что их понимание литургического предания за ночь созрело, и автоматически, без какого-либо рассуждения, ничего заранее не планируя, пойдут в церковь и будут совершать литургию абсолютно иначе чем, скажем, на прошлой неделе? Нужно ли для изменения литургии ждать, пока каждый отдельный член прихода придет к осознанию его необходимости? По-видимому нет, поскольку в таком случае ни этого, ни чего-либо похожего никогда не случится: подобная ситуация до предела невероятна. Но если ждать не нужно, то не будут ли такие изменения, произведенные по решению приходского священника и приходского совета, даже если это соответствует желаниям большинства прихожан, практически – и, безусловно, в глазах несогласных – в какой-то степени очевидно соответствовать «реформированию и планированию сверху»?

И опять же, чьей властью эти изменения могут быть осуществлены? Должны ли они быть сделаны в каждой церкви, священник и прихожане которой пришли к выводу, что для них это необходимо или желательно, без консультаций с какой-либо вышестоящей властью? Но это вызовет настоящую литургическую анархию. Это приведет также и к канонической анархии, которой и без того уже более, чем достаточно. Если такие изменения должны осуществляться без епископской и синодальной власти, то что же это за организм – Церковь? Но, может быть, напротив, они могут осуществляться только этой властью того или другого уровня? Тогда повторяются те же самые вопросы. Не проснется ли вся епархия, или митрополия, или даже вся автокефальная церковь однажды утром убежденной в необходимости изменений и, более того, с полным безотчетным согласием в том, какие именно изменения необходимы и как их осуществлять на практике? Нужно ли для этого ждать, пока каждый верный в пределах данной юрисдикции не будет убежден в их необходимости? Если ответ на этот вопрос «нет» – а утвердительный ответ представляется до смешного невероятным – тогда, по-видимому, изменения должны быть сделаны и их детали должны быть определены епископской и синодальной властью. Но ведь это подразумевает «планирование и реформирование сверху», не так ли? Некоторые из тех, что «внизу», непременно так или иначе с ними не согласятся: предполагать обратное – значит игнорировать человеческую природу.

Не определяется ли на самом деле позиция о. Александра Шмемана страхом, что реформа, как только ее отпустят, собьется с пути и приведет скорее к разрушению, чем к обновлению *lex orandi* и истинного литургического благочестия, основанного на нем? Это действительно приходит на ум в свете того, что он пишет о современных реформах в Римской католической церкви:

Несмотря на то, что литургическое движение, по крайней мере в своих лучших представителях, было ориентировано на возрождение тех начал подлинного предания христианской *leitourgia*, начал, которые были затемнены или даже совершенно утрачены в течение веков, то

«литургическое благочестие», которое стоит за современным «экспериментированием» и «анархией», вдохновлено одновременно очень разнообразным и глубоко противоречащим Преданию рядом стремлений.

Это правильно, но это никоим образом не вся правда. Однако до какой степени это правда, почему это так? Почему такая ситуация возникла? Дом Ботт пишет: «Колебания и сопротивление тут очень понятны. Римская реформа готовилась около половины столетия, но до сих пор можно поставить вопрос – не слишком ли быстро развивались события.» Кому-то они действительно понятны, а кому-то нет. Кто-то может задать вопрос, не слишком ли медленно они развивались в течение столь долгого времени и не стало ли именно это решающим фактором в этой ситуации, не есть ли это действительная причина того, что «изменение было слишком внезапным, и эта мания экспериментаторства выливалась то здесь, то там в анархию»? Не является ли именно это реальной опасностью, которой о. Александр Шмеман должен страшиться? «Реформа в преемственности и уважении Предания», основы которой заложили богословы и литургисты литургического движения, была так затянута, что теперь она смешалась и в некоторой степени исказилась «одновременно очень разнообразным и глубоко противоречащим Преданию рядом стремлений», о которых говорит о. Александр Шмеман. Органичному импульсу живого предания – измениться в соответствии со своей собственной природой – был перекрыт кислород на столь длительный срок, что теперь изменения производятся под влиянием внешних факторов, которые этой природе не соответствуют. Если бы реформа, действительно следующая Преданию, была проведена ранее и если бы она обладала временем, чтобы принести плоды, то эти стремления, направленные против Предания, могли бы никогда не возникнуть, не говоря уже о том, чтобы достичь такой силы и власти. Не является ли это тем важным и злободневным уроком, который Православная церковь должна извлечь из современного беспорядка в Римской католической церкви?

«Литургия, – говорит о. Александр Шмеман, – это живое предание, и хирургическое вмешательство здесь – метод неподходящий». Так ли это? Хирургическое вмешательство всегда нежелательно, всегда неудобно, но не приходит ли однажды момент, когда оно необходимо – именно для того, чтобы сохранить жизнь пациенту? И если литургическое предание в Православной церкви находится в таком тяжелом состоянии, как это диагностировал в другом месте сам о. Александр Шмеман, то не сейчас ли такой момент?

## **Протопресвитер Александр Шмеман: Литургическое богословие, богословие литургии и литургическая реформа**

Богослужение и таинства

Я очень благодарен господину В. Жардину Грисбруку за его комментарии и вопросы, хотя я и не уверен, что мои ответы его удовлетворят<sup>2</sup>. Дело в том, что его замечания, так же как и замечания Дом Ботта, основаны, как мне представляется, на достаточно серьезном непонимании некоторых моих основных тезисов, и я не знаю, в чем причина этого непонимания: в погрешностях моего объяснения или в более глубоком разногласии по вопросу самой природы литургического богословия. В первом случае мои ответы прояснят ситуацию, во втором – быть может, только углубят разногласие.

В. Жардин Грисбрук, вслед за Домом Боттом, предполагает, что для меня «Задача

литургического богословия заключается в том, чтобы вернуть наиболее важное и поставить второстепенное на свои места», и таким образом приготовить почву для литургической реформы, которая восстановит «сущность» литургии. Если бы это предположение было правильным, то В. Ж. Грисбрук был бы, конечно, совершенно прав, упрекая меня в «недостатке логики и ясности», и в моем, в этом случае безусловно безответственном, нежелании признать крайнюю необходимость литургической реформы.

В действительности, однако, такое понимание литургического богословия отнюдь не есть мое и поэтому мой подход к сложному вопросу литургической реформы совсем не обязательно является результатом «недостатка логики». В моей книге, а также в других моих публикациях, я пытался показать, что «сущность» литургии или *lex orandi* есть ни что иное, как сама вера Церкви, или, лучше сказать, проявление веры, общение в вере и исполнение этой веры. Именно в этом смысле надо понимать, как мне кажется, знаменитое изречение *lex orandi est lex credendi*. «Это не означает сведения веры к литургии или культу, как это было в мистериальных культах, где целью веры являлся сам культ, а его спасительная сила была самим предметом веры. Это также не означает смешения между верой и литургией, как в известном литургическом благочестии, где »литургический опыт", опыт «священного», просто заменяет веру и делает человека безразличным к ее «доктринальному» содержанию. И, наконец, это не означает разделения веры и литургии на две различных «сущности», содержание и значение которых должны быть поняты с помощью двух разных и независимых средств исследования, как в современном богословии, где изучение литургии составляет особую область или дисциплину: «литургику». Это означает то, что *leitourgia* Церкви, термин гораздо более понятный и адекватный, чем «богослужение» или «культ», это полная и адекватная «эпифания» – выражение, проявление, исполнение того, во что Церковь верит, или того, что составляет ее веру. Это подразумевает органичную и сущностную взаимозависимость, в которой один элемент, вера, хотя и является источником и причиной второго, литургии, существенным образом нуждается в ней для своего само осознания и само исполнения. Ведь это именно вера рождает и «формирует» литургию, но литургия, в свою очередь, исполняя и выражая веру, «свидетельствует» о вере и таким образом является ее истинным и адекватным выражением и нормой: *lex orandi est lex credendi*.

Но тогда литургическое богословие – и здесь не может быть преувеличения – это не часть богословия, не «дисциплина», которая, рассматривая литургию как свой особый предмет, имеет дело с литургией «самой по себе», но, прежде всего, попытка осознать «богословие» как то, что проявляется в литургии и через нее. Я утверждаю, что существует радикальная и поистине непреодолимая разница между этими двумя подходами к литургическому богословию, задача которого очевидным образом зависит от того, какой из них мы выберем.

При первом подходе, который и Дом Ботт и В. Жардин Грисбрук считают моим, рассматривается специфическая «сущность» литургии в целом или же каждого из ее основных элементов: таинств, Божественной литургии, циклов богослужения и т. д. В этом случае литургия понимается прежде всего, а на самом деле исключительно, как богословие литургии, как поиск последовательного богословия богослужения, которому, как только оно будет сформулировано, литургия должна будет «последовать», в случае необходимости, посредством литургической реформы.

На данном этапе я могу только настойчиво утверждать, что отрицание этого подхода, уверенность в том, что он является неправильным и пагубным и для литургии, и для богословия, является, без всякого преувеличения, основным побуждением моей работы. В подходе, который я отстаиваю каждой строчкой, которую я когда-либо написал, вопрос, обращенный литургическим богословием к литургии и ко всему литургическому преданию –

это вопрос не о литургии, но о «богословии», т. е. о вере Церкви, выраженной, переданной и сохраненной в литургии. Здесь литургия рассматривается как *locus theologicus par excellence*, ибо в этом ее настоящее предназначение, ее *leitourgia* в первоначальном значении этого слова – выявлять и исполнять веру Церкви, и выявлять ее не частично, не «дискурсивно», а как живую полноту и соборный опыт. И именно потому, что литургия есть эта живая полнота и этот соборный опыт веры Церкви, она есть истинный источник богословия, условие, которое делает его возможным. Потому что если богословие, как утверждает Православная церковь, не является простым рядом более или менее индивидуальных толкований той или иной «доктрины» в свете и посредством форм той или иной «культуры» или «ситуации», но попытка выразить саму Истину, найти адекватные разуму и опыту Церкви слова, то у него неизбежно должен быть свой источник, в котором вера, разум и опыт Церкви имели бы свое живое средоточие и выражение, где вера в обоих важнейших смыслах этого слова – как Истина, данная в откровении, и как Истина принятая и «переживаемая», имела бы свою эпифанию, и именно в этом и заключается функция литургии (*leitourgia*).

Отсюда должно стать ясным, что та трагедия, о которой я говорю и о которой скорблю, заключается не в каком-либо частном «дефекте» литургии – и Бог знает, что таких дефектов было много во все времена, – но в чем-то гораздо более глубоком: в разделении между литургией, богословием и благочестием, разделении, которое характеризовало послесвятоотеческий период истории нашей Церкви и которое изменило – не веру и не столько литургию – но богословие и благочестие. Другими словами, кризис, который я пытаюсь анализировать, это кризис не литургии, но ее понимания – в ключе ли послесвятоотеческого богословия или в ключе более позднего, но считающегося традиционным, литургического благочестия. И именно потому, что корни кризиса скорее богословские и духовные, нежели литургические, никакая литургическая реформа сама по себе и сама в себе его не разрешит.

Возьмем, например, органичные, и для ранней церкви самоочевидные, связь и взаимозависимость внутри *lex orandi* Дня Господня, Евхаристии и Экклесии (собрания верных как «церкви»). Если это было самоочевидным и настолько центральным, что действительно сформировало литургическую традицию Церкви, то потому, что это было вместе и выражением, и исполнением чего-то одинаково центрального и существенного для веры Церкви: единства и взаимозависимости в этой вере космологического, эсхатологического и экклезиологического «опытов». Оно было рождено из христианского видения и опыта Мира, Церкви и Царства и из их фундаментальных взаимоотношений. Теперь ясно, что, с одной стороны, эта связь до сих пор литургически существует, но настолько же очевидно, что, с другой стороны, это не понимается и не переживается так, как это переживалось и понималось в ранней Церкви. Почему? Потому что известное богословие и известное благочестие, сформированное этим богословием, навязав свои категории и свой собственный подход, изменили и наше понимание литургии, и наш литургический опыт. В нашем конкретном случае они сделали это, лишив ее этой «связи» космологического, эсхатологического и экклезиологического значений и оттенков. Связь эта сама по себе осталась частью *lex orandi*, но перестала быть как-либо связана с *lex credendi*, и уже не рассматривается как богословский *datum*, и ни один богослов ни разу не удосужился упомянуть ее как имеющую хоть какое-то богословское значение, как открывающую какой-то «опыт» Церкви о себе самой, о Мире и Царстве Божиим. Таким образом, День Господень превратился всего-навсего в христианский вариант субботы, Евхаристия стала одним из «средств получения благодати», а Церковь – институтом, где таинства есть, но который не сакраментален по самой своей природе и «устроению». Но тогда может возникнуть вопрос: какая литургическая, т. е. внешняя, реформа способна восстановить этот опыт, вернуть изначальное значение этой «связи»? Она все еще здесь, с нами. Она все еще является нормой, мы же ее не видим. Она звучит в каждом слове Евхаристии – мы же ее не слышим. Как будто кто-то одел на наши глаза очки, сделавшие нас слепыми к очевидному, и вставил в наши уши

слуховые аппараты, сделавшие нас глухими к самому явственному.

Реальная проблема поэтому заключается не в «литургической реформе», но, прежде всего, в столь необходимом «примирении» и взаимопроникновении литургии, богословия и благочестия. Здесь, однако, я должен покаяться в собственном пессимизме. Я не вижу в православном богословии и вообще в православной церкви даже признания этой проблемы и мне ясно, что пока проблема не признана, ее решение либо невозможно, либо это будет неверное решение. Таким образом, например, я не ожидаю больших результатов от «возвращения к отцам», о котором так много говорят и в котором некоторые видят панацею от всех бед. Потому что, по моему мнению, все зависит от того, как «возвращаться» к отцам. У меня создается впечатление, что, за редким исключением, это «святоотеческое возрождение» по-прежнему сковано рамками старого западного подхода к богословию, что это возвращение скорее к святоотеческим текстам, чем к мышлению отцов, как будто эти святоотеческие тексты являются самодостаточными и само-объясняющимися. Настоящий «первородный грех» всего развития западного богословия именно в том, что оно сделало «тексты» единственным *loci teologici*, внешними «авторитетами» богословия, оторвав богословие от его живых источников: литургии и духовности.

Парадокс некоторых современных православных богословских течений заключается в том, что их авторы могут осуждать – во имя отцов – все виды западных ересей, при этом оставаясь глубоко «западными» в том, что касается основных предпосылок и самой природы богословия. Они могут издать более или менее интересные, более или менее ученые монографии о святоотеческих «идеях» или «доктринах» на ту или иную тему, создав у нас впечатление, что отцы были прежде всего «мыслителями», которые, подобно современным богословам, работали исключительно над «библейскими текстами» и «философскими концепциями». Что игнорирует такой подход, так это собственно экклезиологический и литургический контекст святоотеческой мысли. И он игнорирует его – и в этом суть вопроса – потому что через те западные научные принципы, методы и критерии, которые уже давно были усвоены нашими богословами как единственно правильные, – этот контекст осознается не сразу. Отцы очень редко ссылаются на него явно, их тексты его не упоминают, и ученый, занимающийся патристикой и с уважением относящийся к этим текстам и тем «данным», которые проявляются в форме «сносок», оказывается, благодаря самому своему методу, не в состоянии его уловить. Существуют богословы, исключительно хорошо начитанные в писаниях отцов и абсолютно уверенные в своей верности Преданию, и рассматривающие, например, идею органической связи между экклезиологией и Евхаристией как не соответствующую отцам и Преданию, потому что «тексты» формально не выражают этой идеи. И действительно, если богословское исследование *a priori* ограничено «текстами», – какими бы то ни было – текстами Писания, святоотеческими или даже литургическими – эти богословы правы. Но реальное значение этого *argumentum in silentio* другое. Для отцов эта связь есть не что-то, что должно быть богословски установлено, определено и доказано, но источник, делающий возможным само богословие. Они редко говорят о Церкви или о литургии в явных выражениях, потому что для них это не «предмет» богословия, но его онтологическое основание, эпифания, самоочевидность того, о чем они «свидетельствуют» в своих писаниях. Это именно и делает их отцами, т. е. свидетелями «разума» Церкви, выразителями ее соборного «опыта». Отделенные от этого источника и этого контекста, отеческие «тексты», также как библейские тексты, могут быть истолкованы множеством способов, так, что с их помощью можно доказать практически все, что угодно. В лучшем случае они остаются «идеями» или «доктринами», доступными лишь академическим кругам и настолько же чуждыми реальной жизни церкви, как и старое богословие семинарских учебников западного образца. Здесь, как и в случае с *lex orandi*, можно запросто смотреть и не видеть, слушать и не слышать. Выражаясь в модных сегодня терминах, успех богословия зависит от «герменевтики», которая определенно



является основополагающим вопросом контекста и семантики. Я утверждаю, что для православного богословия, и в этом оно существенно отличается от западного, ее *sui generis* герменевтическое основание должно быть найдено в *lex orandi*: в эпифании и опыте Церкви о самой себе и о своей вере. Именно это мы имеем в виду, когда утверждаем, в соответствии с нашим Преданием, что Писание толкуется «Церковью», и что отцы являются свидетелями соборной веры Церкви. И, таким образом, чем дольше эта православная «герменевтика» не будет осознана, заново найдена и введена в практику, исследование наиболее важных текстов предания останется, увы, так же бесполезно для нашей литургической ситуации, как и в прошлом.

Еще меньше надежд я питаю по поводу любого вида литургических «возрождений», которые периодически встряхивают самодовольство церковного «истеблишмента» и неизбежно ведут к дискуссиям о литургических реформах. Поэтому литургическая реформа (надобность которой я, кстати, не отрицаю) должна иметь разумное обоснование, согласованный набор предпосылок и целей, и это обоснование, я не устану повторять, может быть найдено только в *lex orandi* и в органической связи с *lex credendi*. Но я не обнаруживаю ни малейшего интереса к такому обоснованию среди тех – а их много – для кого литургия является основным объектом их забот. Мы видим, с одной стороны, романтический и ностальгический пафос литургической реставрации, настоящее пристрастие к рубрикам и правилам, при полном отсутствии интереса к тому отношению, которое они могут иметь или не иметь к вере Церкви. Не удивительно, что при таком подходе объекты и избираемые цели такой реставрации варьируются почти *ad infinitum*. Существуют фанатики русского литургического благочестия – старинного или современного – и такие же фанатики греческого стиля, есть и такие, для которых все зависит от восстановления определенного «распева» или сохранения «малых ектений», как это предписано правилами. Когда люди этого сорта узнают, что в русской (впрочем, достаточно недавней) практике Царские врата были закрыты в течение евхаристического канона, они объявляют еретиками и модернистами тех, кто защищает ту точку зрения, что они должны быть открыты. С другой стороны мы видим противоположную тенденцию: одержимых тем, чтобы сделать литургию «более понятной», «актуальной», «близкой к народу». В этом случае набор пристрастий и средств, рассматриваемых как немедленная панацея, прямо противоположен: убрать иконостас, читать все молитвы громко вслух, сократить службу, отменить все, что не относится к «общности», ввести общее пение, перевести все богослужение на самый популярный и простой английский, бороться со всеми «этническими» обычаями и т. д. Но каков бы ни был подход, никакая сколько-нибудь содержательная дискуссия невозможна, поскольку в обоих подходах отсутствует интерес именно к смыслу литургии как целого, смыслу *lex orandi* в его отношении к *lex credendi*, потому что литургия рассматривается сама в себе, а не как «эпифания» веры Церкви, ее опыта во Христе о самой себе, о Мире и Царстве.

Возьмем, например, сегодняшнюю поляризацию внутри церкви по вопросу «частого причастия». Вот поистине странный спор, в котором обе стороны, т. е. те, кто защищает «частое причастие», и те, кто выступает против него, никогда не обращаются к тому единственному вопросу, который, как ни парадоксально это звучит, состоит в следующем: «Что такое причастие?», или скорее – «Чему и кому мы причащаемся?» Я говорю «парадоксально», потому что обе стороны считают, что ответ на этот вопрос абсолютно ясен, что это даже не вопрос. Они ответят: Телу Христову, «Святым Тайнам». Все дело, однако, в том, что разные практики причастия, в пользу каждой из которых можно найти аргументы в «предании», являются, в свете приведенного выше анализа, следствием различных «богословий» и «благочестий», разных взглядов на Евхаристию и на саму Церковь, каждый из которых должен быть подвергнут переоценке в свете истинного *lex orandi*. Таким образом, противники «частого причастия» не обязательно менее «благочестивы», чем его защитники, так же как и последние

не обязательно отстаивают его по правильным причинам. Трагедия всех этих споров о литургии в том, что они остаются замкнутыми в пределах категорий «литургического благочестия», которое само является следствием разрыва между литургией, богословием и благочестием, разрыва, о котором я упоминал выше. И пока такое литургическое благочестие господствует и формирует эти споры, само упоминание литургической реформы может быть не только бесполезным, но даже опасным.

Действительно, печальный урок современной литургической неразберихи на Западе не должен пройти для нас даром. Эта неразбериха, особенно в Римской церкви, вызвана именно отсутствием ясного и последовательного обоснования литургической реформы. Поистине достойно сожаления, что около 50-ти лет конструктивной работы Литургического движения были просто сведены на нет необдуманном принятием таких принципов, как знаменитые «актуальность» и «неотложные нужды современного общества», «служение жизни» или «социальная справедливость». Результатом оказалось разрушение литургии, и это несмотря на некоторые великолепные идеи и высокий уровень литургической компетентности.

Наконец, может возникнуть вопрос: но что же вы предлагаете, чего же вы хотите? На него я отвечу, признаюсь, без особой надежды быть услышанным и понятым: нам нужно литургическое богословие, рассматриваемое не как богословие богослужения и не как сведение литургии к богословию, но как медленное и терпеливое соединение того, что в течение очень длительного времени из-за очень многих факторов было разрушено и изолировано – литургии, богословия и благочестия, их воссоединение внутри единого фундаментального видения. В этом смысле литургическое богословие является незаконнорожденным ребенком разбитой семьи. Оно существует, или, может быть, я должен сказать, вынуждено существовать только потому, что богословие перестало искать в *lex orandi* свой источник и пищу, потому что литургия перестала приводить к богословию. Мы должны научиться – а это нелегко – задавать правильные вопросы о литургии, а для этого мы должны вновь открыть – и это, опять-таки, нелегко, истинный *lex orandi* Церкви. И прежде всего мы должны поставить под вопрос сам дух, организацию и метод нашего богословия и весь процесс образования, который мы некритично, слепо переняли от пост-тридентского Запада и который мы сейчас выдаем за православный и следующий Преданию. Определенным западными богословским предпосылкам может соответствовать попытка разбить богословие на несколько практически автономных и самодостаточных «разделов» или «дисциплин» – библейское богословие, систематическое богословие, патристика, литургия, каноническое право. В православной же церкви такое разбиение не только ведет, в конечном счете, в никуда, но, что еще хуже, очень тонким образом искажает саму богословскую работу, навязывая ей вопросы, категории и проблемы, просто чуждые «разуму» Церкви.

Все это, я повторяю, не только не лежит в поле зрения, но напротив, складывается впечатление, что никто не понимает, где находится настоящая проблема. Иногда мне кажется, что настоящие *секуляристы* – это не те «секулярные» люди нашего времени, которых мы постоянно упрекаем и обвиняем в их секуляризме, но многие наши профессиональные богословы, клирики и «благочестивые» миряне. Секулярные люди по крайней мере проявляют знаки неудовлетворенности собственным секуляризмом, все больше и больше связанным с ностальгией по священной глубине и *полноте*. Кажется, только мы принимаем, даже не замечая этого, разбитость нашего христианского видения и опыта на узкие и несвязанные между собой отсеки, принимаем как нормальный легализованный и институционализированный разрыв, в рамках которого ни литургия, ни богословие не могут действительно быть победой, побеждающей мир... Но в настоящее время голос тех, кто это видит и призывает к воссоединению – именно в этом видя задачу литургического богословия – кажется рискует остаться *vox clamans in deserto*.

1 Оригинал опубликован в St. Vladimir's Theological Quarterly 13, 1969, стр. 212 - 217.

2 Этот ответ господину В. Жардин Грисбруку появился в том же выпуске St. Vladimir's Theological Quarterly 13, 1969, стр. 217 - 224.

Перевод Ирины Волковой

## : О «Херсонском деле»

Церковная жизнь

ПИСЬМО КЛИРИКОВ СВЯТО-СРЕТЕНСКОГО ХРАМА Г. ХЕРСОНА

Возвращаясь к Херсонскому делу

Мы продолжаем публиковать документы, открывающие новые стороны продолжающегося развиваться конфликта, который связан с общиной Свято-Сретенского храма г. Херсона. Собираемся знакомить читателей с ходом развития этих событий и в дальнейшем.

Молитвенно надеемся, что это нестроение, как и всякое нестроение в церкви, по воле Божьей будет преодолено.

Блаженнейшему Владимиру, Митрополиту Киевскому и всея Украины от клириков Свято-Сретенского храма города Херсона

Копии: членам священного Синода Украинской Православной Церкви; Преосвященнейшему Иову, епископу Херсонскому и Таврическому

Ваше Блаженство, досточтимый Владыка Владимир!

Мы весьма огорчены решением священного Синода Украинской Православной Церкви на заседании от 15 апреля 1997 года, одобрить запретительную санкцию Илариона, архиепископа Донецкого и Мариупольского, управлявшего Херсонской епархией (указ № 13 от 23 января 1997 года), объявившего нас, клириков Свято-Сретенского храма, вне священного сана.

Указ этот много раз зачитывался в храмах Херсонско-Таврической епархии; о происшедшем извещена светская общественность области неоднократным выступлением владыки на страницах газет и телевидении, называвшего нашу общину «сборищем протестантско-католическо-коммерческим» (?!).

Странно как-то все это. Руководством Церкви, которое призвано Самим Богом воплощать любовь и доброту, справедливость и честь, игнорируются самые элементарные нормы законности. Трудно даже поверить, что Церковный суд мог проходить не только без адвоката, но и без подсудимых (!!!). Более того — без предварительного следствия — ни один человек, так или иначе представляющий Синод, так и не появился в нашем храме с тем, чтобы на месте разобраться в сути дела, допросить. Даже телефонных звонков не было.

Оказывается, достаточно было использовать частное письмо настоятеля Иоанна Замараева, в котором он откровенно поделился лично с Вами, даже не как с Митрополитом, а как с простым человеком, смелыми размышлениями о путях выхода Церкви из состояния сегодняшнего кризиса, чтобы Церковный суд вынес обвинительный вердикт.

Конечно, могут сказать, что письмо протоиерея Иоанна было «анализировано» архиепископом Полтавским и Кременчужским Феодосием и представителем Киевской Духовной академии, и через письмо выявлены правонарушения, совершающиеся в нашем храме, но ведь нами, клириками Свято-Сретенского храма, в открытом письме на Ваше имя (от 1 января 1997 года) показана полная несостоятельность обвинений в наш адрес и никакого ответа, опровергающего наши объяснения, или новых аргументов против «нововведений» в нашем храме не было со стороны Синода. Да и являются ли нововведениями те пункты, в которых мы обвиняемся?

Вечерняя литургия по пятницам? Это практика Санкт-Петербургской Духовной академии.

Возрождение древней и общехристианской традиции исповедываться заблаговременно до Причастия принадлежит приснопамятному владыке митрополиту Никодиму (Ротову), а также ныне здравствующему митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, который в свое время, будучи ректором Ленинградской Духовной академии, поощрял эту практику среди студентов.

Литургия в редакции для детей? Это давняя практика в некоторых московских храмах, проводимая, в частности, отцом Георгием Кочетковым — ректором Свято-Филаретовской высшей православно-христианской школы и Александром Борисовым — настоятелем храма свв. Космы и Дамиана города Москвы и пр. Собственной персоной совершает «детскую» литургию и архиепископ Новгородский и Старорусский Лев.

Редакция и переводы на современный русский язык богослужебных текстов? Это постановление «Поместного собора Русской Православной Церкви 1917–18 годов, принявшего программу церковно-приходских и богослужебных реформ с рекомендацией использования в богослужении живого русского языка... Деяния этого собора остаются авторитетными для нашей церкви, их никто не отменял, хотя и не всегда была возможность ими прямо руководствоваться». (Язык Церкви. Вып. 1. Свято-Филаретовская высшая православно-христианская школа. М., 1997. С. 15 ).

Использование органа за богослужением? Но это тоже не ново. Даже если не апеллировать к древнему христианству, можно упомянуть, что еще в дореволюционное время в одном из православных храмов С.-Петербурга использовался орган. В недавнее время, как сообщил мне в переписке архиепископ Анатолий Керченский, викарий Сурожской епархии, на территории США на приходах Греческой церкви много трудились в стремлении ввести орган в традицию восточного православия. К сожалению, труды эти неплодотворны, т. к. задача не проста — большинство людей в подобных вещах консервативны и, будучи воспитаны в пении а саpella, с трудом воспринимают изменения. Блаженной памяти покойный патриарх всея Руси Пимен в актуальном интервью итальянскому журналисту Алчесте Сантини накануне празднования 1000-летия Крещения Руси на вопрос «почему не используются музыкальные инструменты в богослужении?», ответил: «Отсутствие музыкального сопровождения при исполнении богослужебных песнопений... является исторической и культурной традицией христианского востока, уходящей в глубокую древность... Однако, мы понимаем духовную ценность других форм, сложившихся в иных культурных традициях, например, использование органа Западными Церквями или народных инструментов христианами Африки. Богослужение общины или Церкви всегда отражает ту местную культуру, в которой выросли и воспитались верующие. В этом разнообразии форм мы видим не противопоставление или противоречие, а взаимодополнение и взаимообогащение...»(Журнал Московской Патриархии, № 7, 1990).

Вот, собственно говоря и все пункты, которые архиепископ Иларион в указе № 115 от 24 декабря 1996 года наименовал «антиканоническими и еретическими».

Несостоятельность обвинений в наш адрес очевиден не только для мало-мальски образованных пресвитеров и мирян, но и для людей нецерковных.

Храм наш остается действующим. Количество прихожан не уменьшилось. Мы продолжаем по-прежнему совершать богослужения и требоисполнения. В школах преподается православное вероучение. Функционирует церковная библиотека. В детской областной больнице, как и ранее, открыта часовня от нашего храма. Работает бесплатная благотворительная кухня. Разве что люди некоторые опечалены, смущены бумагами, распространявшимися архиепископом, уверявшим всех, что мы лишены им священного сана. Но так ли это на самом деле?

Наверное, имеет смысл вспомнить тексты правил, на которые сослался Иларион в своем указе № 13 от 23 января 1997 года. Итак, 28-е Апостольское правило гласит: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явные вины изверженный, дерзнет коснуться служению, некогда ему порученнаго: таковой совсем да отсечется от Церкви». Разве не ясно здесь говорится, что речь идет о «праведно, за явные вины изверженного...», а не о том, с кем по каким-то причинам не согласен епископ. Ведь нами по существу не нарушено ни одного церковного правила.

Далее, 38-е правило Карфагенского собора: «Угодно всему собору, чтобы отлученный за свое небрежение от общения, епископ ли, или кто бы то ни был из клира, во время отлучения своего, прежде выслушания оправдания его, дерзающий приступати к общению, признаваем был произнесшим сам на себя приговор осуждения». Это правило действительно могло казаться двусмысленным, если бы не было на него толкования авторитетнейшего в нашей Церкви канониста Федора Вальсамона, который в «Алфавитной синтагме» пишет: «Отлученный не по причине, признанной Божественными правилами, а по безрассудному желанию отлучившего, без опасности может пренебречь отлучением, и скорее должен подвергнуться наказанию тот, кто отлучил: ибо если епископу дано будет право благовременно или неблагоприятно (необоснованно) отлучать клириков и мирян и поставлять в необходимость запрещенных — бояться неблагоприятного отлучения и выполнять его, — то епископы присвоят себе самовластие и будут издеваться и над самим благочестием, и таким образом, божественные правила сделаются причиной многих бедствий, что есть верх нелепости. Потому-то и говорит правило с ограничением: «если кто отлучен за небрежение, то есть за грех, который запрещают божественные правила. То же говорит и божественный Дионисий Ареопагит в послании: ...ибо Божество не преклоняется безрассудными стремлениями священников». (Алфавитная синтагма М. Властаря. М., 1996, сс. 87-88).

Архиепископ Иларион, под страхом отлучения от Церкви, многократно призывал херсонцев не посещать наш Свято-Сретенский храм. Его призывы оказались тщетными. Херсонцы любят этот храм и ожидают вместе с нами восстановления правды.

Мы понимаем психологическую сложность возникшей ситуации. Изменить решение Синода — это признать собственную ошибку, а это всегда трудно. И однако, это благороднее, чем настаивать на правоте, которая таковой не является.

Мы живем в век бурного развития коммуникаций. И если в былые времена для обнаружения неправды надобились столетия, то ныне суд истории вершится гораздо быстрее — он свершится скорее всего при нашей жизни.

Посему мы, клир Свято-Сретенского храма, просим Вас, Владыка Владимир, вдохновить членов Священного Синода на пересмотр позиции в отношении к нашей общине, выраженной в журнале № 26 от 15 апреля 1997 года. Мы верим в мужество и правдолюбие всех членов

Священного Синода.

Настоятель Свято-Сретенского храма протопресвитер Иоанн Замараев

Клирики: протопресвитер Петр Замараев, протопресвитер Алексей Алексеенко, иерей Игорь Шевченко, протодиакон Сергей Зырянов, регент Стефан Галуненко

21 июля 1997 г.

Письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II епископу Херсонскому и Таврическому

Ваше Преосвященство!

Отвечая на письмо Вашего предшественника по кафедре, Высокопреосвященнейшего архиепископа Илариона, от 9 июня 1997 г., в котором сообщалось о самочинных изменениях церковной жизни, предпринятых группой бывших клириков Вашей епархии, во главе с лишенным священного сана Иоанном Замараевым, выражаю поддержку каноническим прещениям, наложенным на них во исполнение решения Священного Синода Украинской Православной Церкви от 6 декабря 1996 г., ибо мир и единство Церкви Христовой есть величайшая святыня, посягать на которую не должно превратно ревнующим о благе церковном.

Сообщаю также, что бывший священник Иоанн Замараев не обращался в Московскую Патриархию с просьбой о переходе в ее непосредственное подчинение, поэтому его утверждения об этом не соответствуют действительности. К сожалению, священноначалие Русской Православной Церкви не всегда имеет полную и своевременную информацию о жизни украинских епархий, что нередко приводит к возникновению подобных недоразумений.

Сердечно желаю Вам, дорогой Владыко, изобилия милостей Божиих в совершении Вашего архипастырского служения на благо святой Церкви Христовой, претерпевающей новые искушения, но неизменно оберегающей дарованную ей Господом истину от всего, по словам святителя Филарета (Дроздова), «несообразного с достоинством Восточной Кафолической Церкви, с ее чистою древностию и древнею чистотою».

С любовью о Господе,

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

23 июля 1997 г.

Письмо клириков Свято-Сретенского храма г. Херсона Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II

Ваше Святейшество!

19 августа сего года в день праздника Преображения Господня, в Херсонском кафедральном соборе Святого Духа было оглашено Ваше первосвятительское послание Преосвященнейшему Иову, епископу Херсонскому и Таврическому (от 23.07.1997 г. № 3497), содержащее суждения относительно запретительных санкций митрополита Илариона, до недавнего времени управлявшего Херсонской кафедрой и объявившего меня и клир Свято-Сретенского храма вне священного сана, с одобрения Священного Синода Украинской Православной Церкви. Из текста Вашего ответного послания явствует, что Высокопреосвященнейший Иларион в письме от 9.06.1997 г. дезинформировал Ваше Святейшество, заявив о том, что якобы я объявил

«ставропигиальность» нашего храма и мою непосредственную подчиненность Московской Патриархии. Это неправда. И несоответствие этого действительности могут подтвердить не только клир, и, даже, не только община нашего храма. Поскольку данный конфликт был вынесен Владыкой Иларионом через телевидение и иные средства массовой информации за пределы «церковной ограды»; а, к сожалению, и мне также приходилось выступать с ответными объяснениями перед общественностью, то безосновательность подобных обвинений, инкриминированных мне митрополитом, могут подтвердить десятки, если не сотни тысяч людей.

Вопрос о возможном переходе в Ваше непосредственное Первосвятительское подчинение действительно обсуждался в нашей общине в 1991 году, когда шел обвальный процесс ухода приходов на Украине в раскол и мы не были уверены, что Церковная структура Московской Патриархии будет сохранена на нашей земле. Еще тогда мы решили сохранить в советском регистрационном уставе старое наименование нашей общины — «Русская Православная Церковь», а также внести изменения, в перспективе упрощающие процесс возможного перехода в «ставропигию» с гражданско-правовой стороны, на тот случай, если светские власти Украины будут чинить к этому препятствия. Но это лишь момент, определяющийся в светско-юридическом пространстве и нисколько не имеющий отношения к церковной жизни прихода. Именно так к особенностям нашей регистрации относился в течение 5 лет и Владыка Иларион, вплоть до сего года. Более никаких разговоров на эту тему не было, а если и будут, то не ранее провозглашения автокефалии Украинской Православной Церкви.

К сожалению, мы не обладаем копией письма митрополита Илариона на Ваше имя и поэтому не можем знать — одна ли это «неточность» или их значительно больше, хотя и в свете первого неудивительно, что Ваше Святейшество выразило «поддержку каноническим прещениям...».

Немногим ранее, 10 августа сего года, воскресное богослужение в нашем Свято-Сретенском храме города Херсона посетил протоиерей Виктор Петлюченко. У нас состоялась беседа, в которой отец Виктор выразил скорбь о сложившемся недоразумении между нашей общиной и епархиальными властями и призвал проявить добрую волю и все силы для того, чтобы преодолеть разделение. Протоиерей Виктор не стал поносить наши начинания, квалифицировать их как «антиканонические» и «антицерковные», а оценил их как дело благое и полезное в нынешнее время, хотя и поставил на вид то, что мы стали практиковать нововведения без Вашего Первосвятительского благословения.

Поступили мы так не по пренебрежению к Вашему Святейшеству, а по искреннему убеждению, что любые начинания, не противоречащие церковным канонам и которые помогают приходить к Богу, Вами приветствуются и поощряются. Христос говорил, что «дерево познается по плоду» (Мф 12: 33); плод же нововведений, в которых мы обвиняемся — это то, что всего за несколько лет община нашего храма из самой малочисленной в городе выросла в самую многочисленную, молодую и влиятельную. И если раньше можно было сомневаться — принесут ли новшества пользу, сработают ли, то сейчас можно уже с твердой уверенностью сказать «да».

Если, действительно, заручившись в свое время Вашим Первосвятительским благословением, я мог избежать все нестроения, которые мы так глубоко переживаем в настоящее время, то, конечно, я виновен и готов понести наказание, восстанавливающее единство в Церкви.

Поэтому, припадая к Вашим Первосвятительским стопам, смиреннейше прошу простить за самоволие, разрешить запретительные санкции мне и клиру нашего храма и благословить нас на дальнейшие пастырские труды, учитывая и применяя миссионерский опыт нашей общины.

Вашего Святейшества смиренный послушник

протопресвитер Иоанн Замараев

21 августа 1997 г.

P.S. При сем прилагаю копию письма Блаженнейшему Владимиру, Митрополиту Киевскому и всея Украины от клириков Свято-Сретенского храма города Херсона.

## **Сергей Глаголев: Задачи русской богословской школы**

Христианское образование и воспитание

\* Печатается в сокращении. Полный текст с предисловием В. Курбатова см. в журнале «Русская провинция», № 3 (11), 1994 г.

Давно известно, что история любит договаривать свои мысли до конца, и если уж в ней какой недуг завелся, то никаким хирургическим вмешательством его не лечат. История предпочитает терапевтическую постепенность, при которой организм поправляется сам. Сейчас это особенно видно. Не зря мы открываем старые книги русских мыслителей, хозяйственников, богословов как вчерашние, сегодняшние, а то и завтрашние. Оказалось, что нож 17-го года вырезал не одни больные ткани, а, кажется, — не больше ли здоровых, и вот это стало сказываться все острее, пока мы не обнаружили, что все старые болезни как были, так и остались, да еще норовят усугубиться. И старые лечебники и архивные истории болезни вовсе не архивны.

Сегодня мы перепечатываем речь профессора Московской духовной академии С. Глаголева, произнесенную в 1905 году в Троице-Сергиевой Лавре перед новоначальными студентами богословского факультета, и каждый русский человек, числящий себя православным и вошедший в церковь не для любопытства, тотчас поймет, что побудило нас вспомнить этот девяностолетний документ.

Не надо быть большим психологом, чтобы понять, что речь — серьезнее простого вступительного слова для юношей, что она произнесена куда-то дальше и поверх отдельной аудитории и обращена, по существу, ко всей церкви. Очевидно, понятно так же и то, что такая и на сегодняшний взгляд дерзкая и «опасная» в своей творческой смелости речь не могла быть рождена порывом одного человека. Она должна была быть приготовлена самой церковной ситуацией, проверена в домашних и академических беседах, благословлена хоть частью архиереев (иначе это слово грозило стать для Глаголева последним). То есть речь обнаруживает уже устоявшуюся и осознанную лучшими богословскими умами болезнь церковного общества.

Мы надеемся при случае вернуться к обстоятельствам, в которых она была сказана, и к тем церковным событиям, которые ей предшествовали и последовали. Сегодня нам важнее другое — обозначенные в ней опасности, которые нынче стали еще острее и грозят привести к тем же последствиям — сделать церковную жизнь обрядово-механической, агрессивно «безошибочной», уклоняющейся от богословской работы из боязни впасть в «прелесть» или догматическую ошибку.

Между тем отец Георгий Флоровский немногим позднее С. Глаголева, когда историческая ситуация уже перевернулась, справедливо предупреждал: «Бытом и канонами от прелести не



загородиться», — и писал вдогонку: «Вне богословской проверки русская душа оказывалась так странно нестойкой и беззащитной в искушениях». Не могу не вспомнить и столь же справедливое предупреждение отца Павла Флоренского: «Религия, внушающая мысль о своей абсолютности, не может не быть источником нетерпимости».

К сожалению, мы слишком дословно подтверждаем эти опасения, чтобы продолжать отговариваться тем, что сейчас еще не время говорить о церковных проблемах, вот де пусть она окрепнет, войдет в силу — а уж тогда... Тогда будет поздно — недуги успеют укрепиться и все покатится к новому 17-му году. Надо глядеть в лицо правде тогда, когда она открывается, а не когда это выгодно.

Надеемся, что беспристрастному и мужественному христианскому читателю публикация речи С. Глаголева будет только в ободрение и укрепление сил на долгом пути воскрешения лучших, светлейших черт русской церкви.

Валентин Курбатов

Наша школа принимает в число своих студентов лишь тех, которые сознательно заявили, что они признают христианство в той форме, которая называется православной, совершенной истиной. Отсюда в принципе ясна задача школы: она должна готовить деятелей для выяснения, обоснования и развития православной истины. Это — в научном отношении. Но так как наука существует для человека, а не человек для науки, то в отношении практическом наша школа должна готовить деятелей для постепенного переустройства общественной жизни на православно-христианских началах. Православная истина должна быть фундаментом, на котором из членов, как из камней, созидалось бы стройное здание Православной Церкви. [...]

Как-то случилось, что на самом деле великие задачи выяснять истину и воплощать ее в жизни отодвинулись, их заменило ленивое и лукавое убеждение, что истина познана и осуществлена. «Катехизис» митрополита Филарета и «Догматическое богословие» митрополита Макария были признаны книгами, из которых нельзя ничего убавить и к которым нельзя ничего прибавить. Учение о творении в шесть дней, учение о мытарствах и многие иные учения и просто сказания были догматизированы. Выработавшийся историческими условиями церковный строй был канонизирован. Временные и случайные социальные отношения стали рассматриваться как выражение Божественного миропорядка.

Истина оказалась данной и воплощенной. Никаких подвигов не требуется от тех, кто поступит в школу, где ее изучают. Им вовсе не нужно чего-нибудь искать, что-нибудь открывать и возвещать миру, они должны только охранять существующие воззрения, оправдывать установившиеся порядки. Вместо великой роли пророков им дают скромную и сомнительную роль полицейских. Охранять добро — задача, конечно, почтенная, но охранять жизнь от развития, от движения — это задача омертвения, задача, за которую добрый ум и чистое сердце могут браться лишь со смущением и тревогой.

В самом деле, нам говорят, нас уверяют официально, что русский народ глубоко православен, неизменно предан Церкви, что он исторически воспитан на православии. Все, что можем сделать мы, это лишь охранять его от дурных влияний — от толстовщины, штунды, раскола, католичества. Я назвал задачу, возлагаемую на нас, полицейскою и сомнительною. Охранять — дело полицейское, но охранять то, что глубоко внедрено, что сидит крепко, по-видимому, совсем не нужно. Между тем оказывается, что этому самому народу, который исторически воспитался на православии, достаточно вернуть пять-шесть книжонок в протестантском или ином духе и он увлечется ими. И нам предписывают охранять народ от вредных влияний. Как же это так? А вот как. В действительности наш народ ни на чем исторически не воспитался, у

него нет глубоких и крепких навыков, он православен в значительной мере потому, что не встречался ни с чем, кроме православия. Вы не можете быть последователями религий хинаяна или риобу, если вы о них никогда не слыхали. Не может русский народ принимать принципов лютеранства, если он не имеет о них никакого понятия. Но нужно идти дальше. Наш народ вовсе не православен и не может быть православен, потому что он не знает основных догматов религии, не знает ее существа: он знает праздники, обряды, которые связаны с важнейшими моментами его жизни, он молится, но молятся все народы, и если бы те, которые говорят, что русский народ православен, подслушали его молитвы, они порою, может быть, возмутились бы, как некогда, по мусульманскому преданию, возмутился Моисей молитвою пастуха. Насколько наш народ в лице самых его благочестивых членов понимает — не говорю, догматы, а обряды, — я могу привести такой пример. Благочестивый и грамотный мужик говорил, что в церкви вообще все хорошо, но нехорошо, что дьячки часто кричат: «Поддай, Господи». Ведь этакая жадность. Ему объяснили, что дьячки просят не себе, и он немедленно понял, в чем дело. Но ведь несомненно, что у него имеются еще тысячи неверных представлений и что у многих их еще больше, чем у него. Для того, чтобы православие было внедрено, нужно, чтобы его кто-нибудь внедрял, но никто не внедрял его в сердца русского народа. И оно не внедрено. Одним из доказательств этого является та легкость, с которой на Руси дети порывают с верою отцов. Гимназисты, кадеты, реалисты — в общем верующий народ, но как легко, став студентами, они перестают веровать. Безболезненно и мирно переходят они от веры к безверию. Почему? Потому что на самом деле никакой веры — я говорю не о всех, я могу указать отрядные исключения — никакой веры в них внедрено не было. Кончившие семинарию и потом порывающие с верою — это явление иного порядка, там процесс не так легкий и спокойный, потому что религия там проникла уже глубже в сердце юноши. Возьмите наших купцов. Отцы служили и Богу и золотому тельцу, но дети обыкновенно имеют своим богом только второго, вместо первого они предпочитают иметь дело с благами культуры. Мне думается, что вообще у русских людей мало исторических навыков. Посмотрите на русских, живущих за границей. Необыкновенно быстро усваивают они образ жизни окружающей среды. Говорят, русские любят чай. Очень легко они расстаются с чаем. Возвратите вы англоязычного или онемеченного русского с Запада, и через несколько месяцев он опять превратится в истинно русского человека. Скажут, что англоманство было напускным. Нет, все в русском еще не укоренилось глубоко, и горевать об этом нечего, ибо легкая восприимчивость ко всему есть условие и для восприимчивости к доброму. Несомненно, если русского человека поставить в хорошие условия, из него выйдет хороший человек, но в большинстве случаев весьма сомнительно, чтобы, поставленный в дурные условия, он мог противостоять им.

Говорят о великом благочестии наших предков. Действительно, Русь знает великих подвижников. Но не из одних подвижников состояла Россия. Нужно помнить, что в те времена, когда подвижники уходили в леса молиться о себе и о грехах мира, на каждого подвижника приходилось добрым счетом по десять-пятнадцать разбойничьих шаек. Попытки, казни, существовавшие на Руси в прошедшем, говорят о том, что дух христианства мало проникал в общество. Говорят, что чрезвычайное развитие обрядности, любовь к богослужению наших предков свидетельствуют об их глубоком благочестии и их религиозности. Но церковь ведь была единственным местом развлечения. Нужно помнить, что обрядовые повеления принимались без критики и без размышления. Тот же человек, который не ел в пост мяса, не видел ничего преступного в том, чтобы в пост проливать человеческую кровь. Сердечное, внутреннее проникновение обряда в сердце человека выражается в том, что человек становится мягким, любящим, кротким. Этой черты нет в Древней Руси. Ее принцип — суровость. В «Домострое» выразились идеалы культурнейших русских людей, и ничего эти культурнейшие люди не сумели предложить лучшего древнерусскому мужу в его отношениях с женой, как «вежливенько постегать ее плетью». Религиозный дух, царивший в Древней Руси, был духом сурового покаяния, каждый русский рассматривал себя и других как окаянных,

надежд на милосердие и милость открывалось очень мало, свет и тепло евангельского солнца мало освещали и согревали суровую русскую действительность, и это до последнего времени.

С каким бы почтением кто ни относился к «Катехизису» митрополита Филарета, во всяком случае, каждый должен признать, что в трактате «Катехизиса» о любви (в который почему-то подведены ветхозаветные заповеди) совершенно тщетно искать голоса любви. Здесь слышится голос сурового судии и мздовоздателя. Каждое явление имеет свою причину, и этот суровый и жестокий дух, в котором воспитывались русские поколения, имеет тоже для себя исторические причины. Но нельзя вечно жить этим духом — духом рабства. Покаяние необходимо, но нельзя каяться целую жизнь, такое покаяние невозможно психологически, и оно приведет к безумию и отчаянию, а не к спасению. Недаром ведь отчаяние считается смертным грехом, который никогда не возникает без деятельного участия дьявола. Благочестивые старцы нового времени являются людьми иного типа. Преподобный Серафим, не так давно почивший старец Амвросий не говорили с приходившими к ним цитатами из Филарета; простота, любовь, милая шутка постоянно допускались ими. Они отменили суровое иго закона и вместо него стали внушать и вселять благодатный дух любви. Скажут, может быть, что преподобный Серафим, Амвросий никогда не шли против того, что утверждали Филарет или Макарий; совершенно верно, порядок и закон должны быть, они должны охранять благополучие, порождаемое любовью, но они не должны изгонять любви. Можно вместо любви насадить порядок; благолепие останется, но жизнь отлетит.

Но если нельзя каяться всю жизнь, то можно всю жизнь иметь вид кающегося. Можно иметь очи долу и делать вид, что имеешь горе сердце. А так как такой образ поведения одобрялся, то он и стал обычным. Люди, наблюдавшие это явление сверху и видевшие лишь его поверхность, и пришли к заключению, что русский человек глубоко благочестив, преисполнен смирения, богоносец. [...]

Русские люди любят ходить по монастырям, но ведь и японцы любят совершать паломничества в имеющиеся у них буддийские монастыри. Было бы рискованно, однако, из этого делать какие бы то ни было заключения о религиозности японцев. С чем идет русский человек к монастырю и что он выносит оттуда? Многие ли старались узнать это? Когда весною наша лавра наполняется темными пилигримами, с недоумением и благочестивым интересом смотрящими на колодцы, здания, церкви, благоговейно крестящимися у мощей им неведомых подвижников, когда некоторые из них в простоте сердца высказывают удивление, что все это настроил он один, батюшка Сергей, тогда невольно вспоминается евангельское повествование о том, как Иисус, увидев собравшиеся к нему толпы народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Овцы, приходящие к Сергию, на Валаам, в Соловки, к киевопечерским угодникам, имеют сильную нужду в пастырях. Но чтобы быть им добрыми пастырями, а тем более чтобы готовить им пастырей, нужно наперед узнать их самих — их религию, их идеалы. Несомненно, они имеют религию. Домашний религиозный культ в русских деревнях в большей части справляется бабами. Этот культ имеет очень отдаленную связь с христианскими обрядами и очень близкое родство с инородческим язычеством. Деревенские люди с простым русским здравым смыслом не изложат этого своего синкретического credo своему священнику, а если сам священник узнает что-либо об этом и станет говорить им, они будут поддакивать: конечно, темнота наша, невежество, но будут продолжать делать по-своему.

Я не претендую на то, чтобы дать религиозную характеристику русского народа, эта задача для меня невозможна и невыполнима. Я хочу только установить несколько положений, которые мне кажутся важными в вопросе о религиозном воспитании нашего народа. 1) Официальная характеристика нашего народа как глубоко православного не выдерживает никакой критики; 2) хорошие пастыри могут сделать русский народ действительно

православным; 3) одним из условий для достижения этой цели должно служить действительное знание народа.

Но этим народом доселе у нас занимались лишь этнографы, фольклористы, беллетристы. Печально, но несомненно, что те, на ком лежит забота о духовной судьбе народа, не занимались изучением его совсем, и если бы они стали заниматься, то на первых же порах они получили бы в своих наблюдениях, что благочестие благочестивых и хороших людей сильно уклоняется от той нормы, которую курсы богословия считают безусловно необходимой для спасения. [...]

Я укажу несколько подмеченных мною черт их веры. Они не формулируют своего исповедания, я не умею обойтись без формулы и потому определяю их веру так: они твердо верят в святость и чудотворность Церкви, но они отрицают ее непогрешимость. Господь непрестанно промышляет, святые непрестанно помогают людям, нужно жить по установленным церковным уставам, нужно молиться, помогать бедным, не нужно делать ничего нехорошего; к этим общим правилам присоединяются некоторые, в различных местностях различные и сомнительные: в зубных болезнях нужно обращаться к Антипе, в болезнях вообще к Пантелеймону, во время боя часов читать Богородицу, нельзя купаться 20 июля и т. д. Эти местные суеверия, конечно, представляют неважный придаток к чистой, искренней вере, таких суеверий очень много, но — повторяю — они не важны. Важно иное. Важно, что те же самые лица, которые с безусловным благоговением повергаются пред иконою, считаемою ими чудотворною, те же лица с безусловным критицизмом относятся к священнослужителям и допускают самую беспощадную критику Священного Писания. [...] Принцип веры, таким образом, у многих наших истинно русских и глубоко благочестивых людей, в сущности, старопротестантский. Библия для них книга о делах Божиих, написанная людьми и потому заключающая в себе человеческие погрешности. Не чудеса смущают их в Библии, чудеса для них так же возможны и действительны, как и самые обыкновенные события. [...] Отсюда к описанию чуда они относятся так, как вообще относятся к какому-либо историческому описанию или сообщению о факте, оно может быть и правдивым и ложным. [...]

Русские люди верят в чудеса, в Божественное промышление, но не трудно видеть, что при всем смирении и при всей глубине их веры у них, как у протестантов, есть нечто, что легко и без революции может сделать их веру совершенно рационалистическою и бессодержательною. У них нет общего, обязательного для них критерия. Каждый из них канонизирует одни отделы Библии и отбрасывает другие по собственному усмотрению. У каждого свой канон. Но если так, то, раз отцы достоинства священных книг определяют своею нравственною нормою, дети будут оценивать их своею научною нормою, и тогда, что сохранили в Библии отцы, то выбросят из нее дети. Что же останется тогда? Я думаю, что до этого никогда не дойдет, но я приводимыми мною фактами хотел не представить основания для заключения о будущем, а показать, что и глубокая и чистая вера русских людей утверждается не на таком непоколебимом фундаменте, чтобы быть совершенно беззаботным относительно будущих судеб православия в России.

Я уже говорил об обстоятельстве, которое сильно подрывает теорию богоизбранности и преимущественной религиозности русского народа и которое должно смущать всех, кому дорого православие этого народа. Это распространение неверия в нашем образованном обществе. [...] Нигде религия и образование не разошлись так далеко, как в России. Этот печальный факт находит себе официальное выражение в том, что в русских университетах нет богословских факультетов. Университет по идее есть учреждение, где должны изучать *omnia divina humanae*, где студент должен иметь возможность узнать все, что знают и думают лучшие и сведущие люди о Боге, мире и человеке. Но у нас университет не изучает того, что думают люди о Боге. Внефакультетские кафедры богословия, ставящие профессоров

богословия в какое-то двусмысленное положение, не могут помочь делу. Богословский факультет совсем иное. Там студенты явились бы миссионерами среди своих товарищей с других факультетов. Пусть они толковали бы вкривь и вкось, но непременно бы толковали, и к фактам религиозности и к различным формам веры они научили бы относиться с большим уважением, чем теперь. [...]

Я не хочу сказать, что русский народ нерелигиозен по своему существу, что русский народ — нерелигиозная нация, что в будущем религия будет занимать еще меньшее место в обиходе русского человека, чем какое занимает теперь. Мое личное изучение и мое личное убеждение таково, что нет атеистических наций, как нет наций бесчестных, как нет в настоящее время и богоизбранного народа. В каждом народе есть боящиеся Бога и неправды, и трудно установить статистическую точность в сфере морали и определить, в каком народе больше и в каком меньше лиц имеют право на царство небесное. Если некогда пророк глубоко ошибся в нравственной оценке Израиля, то мы, конечно, не можем претендовать на то, что понимаем дело лучше пророка. Однако позволительно думать, что религиозность и добродетель не даются народу свыше и даром, а должны приобретаться собственными усилиями. Прилагал ли русский народ усилия, чтобы усовершенствоваться в религиозности и добре? Вопрос относится не к отдельным подвижникам, которые были у нас всегда, а к массам. Несомненно, массы жили изо дня в день, и очень трудно доказать, что русские массы прикладывали более стараний и усилий в деле нравственного усовершенствования, чем французы, немцы или англичане. Говорят о терпении и страданиях русского народа. Его называют многострадальным. Без сомнения, русский народ терпел много, терпел в борьбе с суровой природой, с татарами, с лихими людьми. Но страдания сами по себе еще не дают права на венец. Важны цели и результаты страданий. Русские люди от неурожаев, половцев и татар страдали не добровольно, и испытываемые ими страдания далеко не всегда давали хорошие результаты. Жителям Лапландии или Патагонии несомненно живется гораздо хуже, чем жителям Великороссии, однако мы не считаем лапландцев и патагонцев заслуживающими мученических венцов, не может претендовать на них и русский народ. Говорят о какой-то высокой миссии русского народа, о предызбрании Богом народа к великой цели. Однако в прошедшем, по мнению самих сторонников теории, миссия русского народа сводилась к тому, что он отражал восточных варваров и давал возможность на Западе развиваться наукам и искусствам. Но ведь непереходимый океан, высокие горные цепи, зараженные болота могли бы гораздо лучше служить этой миссии отражения, чем русский народ. Для того, чтобы служить физической преградой, не нужно иметь нравственных сил.

Говорят о высокой религиозно-нравственной миссии русского народа в будущем. Я думаю, что каждый должен жить верою, что он предназначен стать камнем в том живом храме, который представляет собою идущая интеллектуально и морально вперед лучшая часть человечества. Этой верой нужно жить и во имя этой веры должно действовать. Но эта вера не исключает предположения, что и другие люди предназначены к высокой цели. Представление, что русский народ есть религиозно-нравственный авангард человечества, абсолютно недопустимо для людей Запада. Но я, признаюсь, совершенно не понимаю, на чем утверждается оно у русских людей. Какому избраннику Божию открыл Бог, что Он вверяет русскому народу истину и дает ему миссию воплотить ее в человечестве?

Говорят, православие — истина, и православием владеет русский народ. Да, православие есть истина. В этом заверяет верующего нравственная сила православия, и в этом заверяет, могу прибавить, лично меня, как ученого, объективное исследование. Но и исследование, и благодатное воздействие православия не оставляют места для самомнения. Великое дело составления православного исповедания, совершившееся в эпоху Вселенских Соборов, совершилось без участия русского народа. Пусть семена христианства были посеяны на

русской равнине в самые первые времена христианства, пусть прав Иван IV, утверждавший, что мы приняли христианство не от греков, а от апостолов (в некотором смысле он, несомненно, прав), во всяком случае, несомненно, что в великую эпоху плодотворной деятельности Церкви русская равнина не подавала и не оставила признаков духовной жизни.

И в настоящее время русский народ православен не один и православен не вполне. Я говорю: православен не вполне, ведь и безбожная интеллигенция, на которую обрушиваются многие верующие, — русская, однако ее нельзя назвать православной, есть у нас сознательно и бессознательно отступающие от православия. Не будучи всецело православным, русский народ и не один владеет православной истиной. Материально он, правда, самый сильный из православных народов, но мерку материальной силы непозволительно прилагать к духовным вещам. Однако для всякого, считающего православие истиной, пребывание в Православной Церкви есть величайшее благо и величайшее преимущество. Поэтому всякий истинно православный должен признавать, что русский народ в своей православной части владеет великим преимуществом перед неправославными народами. Быть православным значит владеть великим богатством, но что значит быть православным? В двух смыслах можно употреблять это выражение: 1) Быть православным — значит жить православной истиной, значит чувствовать себя в живой связи с Богом чрез посредство Православной Церкви. Это чувство, естественное в великих подвижниках, доступно и обыкновенным людям. Грех не уничтожает еще совсем связи с Богом, каждый верующий переживает в лучшие минуты своей жизни чувства умиления, благоговения, благодарности за милости, полученные незаслуженно. Быть православным в действительном смысле значит безусловно не иметь самомнения. Не скажет православный: «Для нас закон, у нас пророки», он знает, что получил безмерные милости туне, он «получил мину», но это возлагает на него безмерные обязанности, а не дает поводов к легкомысленной кичливости. 2) Быть православным в другом смысле — значит признавать православное исповедание истиной. Это православие теоретическое. Оно включает в себе великие обязанности по отношению к самому себе и ближним, но оно еще не утверждает в уверенности получить венец. Напротив, православный теоретически и не поднявшийся до православия практического, до того, чтобы сделать православие своею жизнью, это, в сущности, раб, который знает волю господина и не исполняет ее. О таком рабе сказано, что он будет бит много. Вот его преимущество.

В какой мере и в каком смысле православен русский народ? Можно ли утверждать наперед, что он есть сосуд, совершенно достойный того святого содержимого, именуемого православной верой, которое ему дано?

Мы не имеем права, мы не смеем сказать ничего подобного. Если некогда виноградник был отнят хозяином у одних виноградарей и передан другим, как можем говорить: мы — виноградаря вполне достойные и виноградник никогда не будет отнят от нас? Если православие есть истина, и мы, принимая православие, принимаем истину, то нужно всегда знать, что есть прежде всего обязанность, а потом — право. Мы должны стремиться осуществлять истину в жизни и привлекать к ней других. Можно быть в истине и не быть в правде. Несмотря на всю простоту и ясность рассуждений Писания о великой ответственности лиц, знающих и не исполняющих волю господина, обычная психология и обычное право устанавливают обыкновенно совсем другие положения. У нас получение одних преимуществ обыкновенно влечет требование других. Но не хвастать должны мы, что мы — избранный род, а напрягать все свои силы к тому, чтобы стать достойными быть родом избранным. Род избранный есть тот, который пребывает в истине и осуществляет ее в правде.

Христианская религия есть религия духа и свободы, но, когда ее преобразуют так, что она регламентирует всю вашу жизнь, скрупулезно определяет весь образ вашего поведения, все

отношения ваши к различным чинам и лицам, когда она предписывает вам решать вопросы, о которых вы только начали думать, непременно таким-то и таким-то образом, она становится религиею рабства, и неудивительно, что от нее могут отречься многие хорошие люди и что под покровом ее будут вить гнезда лицемерие, корысть, тщеславие. Я знаю, что есть много искренно верующих людей, которые принимают все религиозные решения нерелигиозных вопросов как истину и добро; я знаю другой ряд искренно религиозных людей, для совести которых эти решения представляют тяжелое испытание, но несомненным остается, что стремление к религиозному решению того, что нерелигиозно, порождает два факта: удаление из Церкви братьев добрых и проникновение в Церковь лжебратии.

Я думаю, что здесь, между прочим, кроется причина и того, почему в стране со ста тридцатью миллионами населения обнаруживается такое слабое тяготение к богословскому образованию. Говорят, что в средние века в Западной Европе был гнет религиозной мысли, было отсутствие свободного решения проблем. За мнения, считавшиеся еретическими, тогда сжигали. Это правда, но, надо заметить, сжигали обыкновенно после публичных диспутов, после опубликования идей, которые потом провозглашались преступными. Зарева ужасных костров, освещающие мрак средневековья от Абельяра до Джордано Бруно, показывают нам, что там мысли давали родиться и высказаться, а не душили ее в потемках, так чтобы она осталась никому не известною.

Не будем сомневаться в том, что догматизация случайных мнений и религиозная регламентация нерелигиозных действий совершались частью бессознательно, частью по добрым побуждениям. Но несомненно, они принесли зло, и это зло для блага Церкви и верующих должно быть устранено. Обладая таким сложным вероучением, которое решает самые разнообразные вопросы жизни и знания, мы на самом деле не владеем кратким исповеданием православной веры, написанным современным языком и дающим ответы на современные запросы и недоумения. Истины православия вечны, но люди не вечны, они живут недолго и они меняются, люди восьмого века совсем иначе понимали исповедание веры, чем люди двадцатого века, у них были иные недоумения, им казалось ясным многое, что для нас утратило ясность, и их смущало, что нас ни волнует. Вот почему, думаю, Церковь в каждую эпоху должна бы была давать краткое руководящее наставление к вере. Не в два и не в пять томов должно быть заключено такое наставление, а по возможности в малый объем, и не одним лицом должно быть составлено оно, а коллективно и затем должно быть рассмотрено и оценено тоже собранием многих. Разумеется, именно на богословской школе или на богословских школах лежит задача составления такого исповедания. Такое исповедание для православного было бы критерием, с которым он бы сверял свои предположения. Такое исповедание было бы и внешним критерием, решающим вопрос о позволительности мнений, вопрос, который доселе решался совершенно произвольно. [...]

Наконец, в области практики мы имеем церковный устав, который для большинства православных людей абсолютно невыполним. Благочестивейший профессор нашей академии Д.Ф. Голубинский, вся жизнь которого была осуществлением религиозных постановлений, жаловался, что не может выполнять устава, и многократно поднимал вопрос о его смягчении. Я не встречал людей более религиозных, чем он; поэтому думаю, что я не встречал исполнителей устава. Мы имеем, таким образом, перед собою собрание мертвых букв, предписывающих нам жить так, как мы не можем жить, и мыслить так, как мы, будучи православными, не можем мыслить. Но так не должно быть. Нужно согласовать нашу совесть с законом и нашу мысль с нашей верой. Мы православны. Какие существенные, неотъемлемые признаки православия, во имя чего объединены мы и противопоставляем себя протестантам и католикам?

Формула объединения есть догмат. Чем менее таких формул заключает религия и чем более обще их содержание, тем более возможно объединение. Догматы — это идеалы, к которым нужно стремиться, а не пугала, от которых нужно бежать. Конечно, догматы, для того чтобы быть желательными, должны быть истинными. [...] У людей разумных они не стесняют мысли, а дают мысли основания для новых и правильных выводов. Таково теоретическое значение догматов. Если они истинны, они плодотворны. Если они ложны, то, как и ложные научные теории и ошибочно понятые факты, они приведут к новым заблуждениям и ошибкам. Бездогматизм есть бессодержательность. Он не вреден, потому что небытие не может быть вредным, бездогматизм есть проповедь незнания, но человечество ищет знания, ищет истины.

Нам нужен и церковный устав. Разнообразие условий жизни делает невозможным создание однообразного устава для всех. Это необходимо иметь в виду. Исторические навыки вырабатывают в человеке привычки к тем или иным обрядам, к той или иной продолжительности священнодействий, к такому или иному образу жизни, согласному с требованиями культа. Россия велика, и в ней неизбежно некоторое разнообразие культа и религиозного домашнего порядка жизни.

Разнообразие обрядов, конечно, не страшно, напротив, разнообразие форм богочтения есть выражение стремления ограниченных людей возможно полнее и глубже прославить Бога. Различные формы дополняют одна другую. Страшно, что возникают разногласия в ином — в вопросах веры, в понимании истины. Что делать? Апостол Павел сказал: «Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор 11: 19). Разномыслия неизбежны, неизбежны и ереси, как неизбежны всякие грехи в мире, который лежит во зле. Самый неразумный способ борьбы с ересями представляет собой попытки подавлять их насильственным путем. Нет, если в вас нет силы духа для того, чтобы убедить заблуждающегося, вам не поможет грубая сила. [...]

Успех религиозной проповеди обуславливается тем реально добрым, что есть в учителе, и тем потенциально добрым, что есть в ученике. Всякое насилие отвне заглушает доброе в ученике и ослабляет доброе в учителе.

Представители и носители веры у нас в настоящее время нередко выражают смущение и страх пред духом неверия, будто бы царствующем в современном обществе. Позволительно думать, что это смущение и страх пред неверием есть дело маловерия. Как может смущаться неверия человек, имеющий крепкую веру? Человек, принимающий в себя Христа в таинстве Евхаристии, как может бояться за Христа? Как его могут смущать атеистические ропот и болтовня тысяч, даже десятков тысяч людей, когда он знает, что Христос может всегда послать легионы ангелов, и от этих атеистов не останется никакого воспоминания. Может быть, скажут, что смущение есть следствие скорби о неверующих братьях, — нет, не заметно этого. Негодование по отношению к неверующим у смущающихся не включает в себе духа любви. Думаю, что факт неверия является сильным искушением для их собственной веры.

Есть в Нагорной беседе одна заповедь Христова, и я не встречал доселе ни одного атеиста, который не признал бы ее обязательною для себя. Читается эта заповедь так: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф 7: 12). Правда этой великой евангельской заповеди издревле чувствовалась человечеством. В Ветхом Завете Товит в наставление сыну Товии сказал: «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому» (Тов 4: 15). Эти слова в латинском переводе: «Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris» получили широкое распространение и император Александр Север приказал написать их на своем дворце и на других общественных зданиях. Мы находим подобную мысль в древней Греции — Исократ сказал: «Если что-либо, будучи вам причинено, вас сердит, не делайте этого другим». Углубляясь далее в древность, мы находим у Конфуция следующее изречение: «В



пути высшего человека есть четыре вещи, из которых я до сих пор не достиг ни одной, а именно: служить отцу так, как я хотел бы, чтобы мой сын служил мне; служить государю так, как я хотел бы, чтобы мой слуга угождал мне; служить старшему брату так, как я хотел бы, чтобы мой младший брат служил мне; поступать с другом так, как я хотел бы, чтобы он поступал со мной». Евангелие дало Божественную санкцию и утвердило всеобщую обязательность нравственного требования, правда которого уже была исповедана лучшими людьми древности. Эту правду признают неверующие люди. [...]

А раз великая заповедь Христова признается миром, хотя и в теории, значит, служителям Христовым открыто благодарное и широкое поле для деятельности. Было бы в высшей степени важным, чтобы был поднят умственный уровень, а вместе и нравственное развитие и русского народа. Как бы не идеализировали его, теперь он стихийная сила, и рассуждающим о его высоких религиозных и нравственных качествах приходится с беспокойством следить, как бы эта сила не устремилась на разрушение. Образование отнимает признак стихийности у этой силы и делает ее более способную воспринимать призывы разума и нравственные увещания. Образование есть великое благодетельное условие для христианской проповеди, и то, что теперь о нем проявляют серьезную заботу, должно глубоко радовать всех тех, на ком лежит или кто хочет взять на себя заботу специально о религиозном образовании. [...]

В высшей степени важно то, что в самой Церкви повеяло дыханием духа. Возникли вопросы, о которых как будто никто не думал ранее: как лучше устроить жизнь Церкви, как создать благоприятнейшие условия для развития религиозной жизни? В Церкви происходит движение. В такие моменты деятели честные и умелые могут принести особенно много пользы.

## **Сергей Аверинцев: Брак и семья: несвоевременный опыт христианского взгляда на вещи**

Церковь и семья

Пусть читатель не ожидает чего-то вроде маленькой богословской диссертации, выстроенной по правильному, заранее готовому плану, с выписками из Отцов Церкви и авторитетных духовных писателей в нужных местах.

Скорее это будут признания, записанные почти без системы — и донельзя личные. Настолько личные, что записывать их не совсем легко.

Дело в том, что меня, каков я есмь, вопрос о пережитом и переживаемом мною опыте отношения к моим покойным родителям, к моей жене, к моим детям — слишком неразрывно связан с иным вопросом — почему, собственно, я верю в Бога?

Этот опыт для меня — пожалуй наиболее веское доказательство бытия Божия.

Спросите у настоящего инока о его иночестве, у настоящего отшельника о его отшельничестве — и вы услышите самые достоверные рассказы о Боге, какие вообще могут быть. Меня Бог не сподобил быть ни иноком, ни отшельником. Но он сподобил меня быть сыном, мужем и отцом — и отсюда я знаю то, что я знаю, чего я, раз узнав, уже не могу не знать.

Поэтому для меня не убедительно никакое мировоззрение, кроме веры.

Последовательно безверное сознание<sup>1</sup>, как кажется, неспособно дать сколько-нибудь сообразного ответа на вопрос о простейших реальностях человеческой жизни. Эти реальности для него неизбежно рассыпаются, дробятся на свои составляющие (на свои плоскостные проекции), — обращаясь в какую-то труху и решительно переставая быть реальностями.

Относительно «плоскостных проекций» необходимо отступление. Я чрезвычайно далек от того, чтобы посягать на права науки. И даже на права «рационализма» — при единственном условии: лишь бы он не покидал пределов, в коих он остается — рациональным. Каждая наука, каждая научная дисциплина — ибо наука живет лишь в конкретной множественности научных дисциплин (способных к взаимодействию, к частичным синтезам, но и ревниво оберегающих свою методологическую обособленность друг от друга), не как мифическая Наука «вообще», Наука с большой буквы, — имеет право и обязанность снимать с изучаемого предмета проекции на свои экраны и работать с этими проекциями<sup>2</sup>. Но вот мировоззрение, заслуживающее такого имени, не может иметь дело с проекциями. Оно потому и «миро-воззрение», что силится «взирать» на мир, а не на методологические экраны. «Научное мировоззрение» — это *contradictio in adiecto*. Напротив, «целостное мировоззрение» — это плеоназм: какое же это, спрашивается, мировоззрение, если оно не целостное? Конечно, в силу несовершенства, неполноты человеческого знания, даже духовного, даже праведно-духовного, всякое мировоззрение реализует лишь воспоминание об императиве целостности. Как раз христианин менее всего расположен с этим спорить. У апостола Павла сказано: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» [1 Кор. 13, 12]. Однако хотя бы сквозь тусклое стекло<sup>3</sup> мы обязаны смотреть в должную сторону, не позволяя отвлечь нас идеологическими фантомами, паразитирующими на реальности науки. И психология, и физиология — почтенные дисциплины. Но когда наши современники, сами того не замечая, в бытовом, отнюдь не профессионально-научном разговоре, говорят о «психологии» человека, когда имеется в виду его духовная жизнь, и о его «физиологии», когда имеется в виду его телесная жизнь, т. е. подменяют даже на лексическом уровне понятие некоей реальности понятием науки, эту реальность изучающей, — этот словесный обиход свидетельствует отнюдь не о широком распространении научного подхода, но, напротив, о дефиците рациональности, во все времена начинающейся с умения здраво различать нетождественное.

Вернемся, однако, к предмету.

Что для безверного сознания действительность супружества? Во-первых, «секс», «физиология», иначе говоря, та самая «плоть», о которой французский поэт Малларме, надо сказать, достаточно далекий от чего бы то ни было, похожего на христианский аскетизм, с такой правдивостью отметил, что она сама по себе, «увы», вещь невеселая («*La chair est triste, hélas!...*»). Ах, что в настоящих поэтах, хотя бы и неверующих, хорошо — что они, будучи по большей части отнюдь не праведниками, не участвуют в рекламной пропаганде ада. А кто не учился французскому, пусть перечитает раннюю Ахматову («О, как сердце мое тоскует! Не смертного ль часа жду?»). Наш современник, силящийся устро-иться повеселее, разучивая по книжкам приемы сексуальной техники, — разве от него не разит за версту унынием? Не хочется называть в такой связи имя, вправду славное, но старый холостяк Иммануил Кант, бедняга, определил брак как контракт о взаимной передаче в пользование соответственных частей тела; это, без сомнения, самая неостроумная и бессодержательная дефиниция, какая когда-либо приходила на ум этому великому мыслителю. Но продолжим наш перечень. Пунктом вторым идет «психология», то есть спонтанные эмоции, которые по определению переменчивы, да и противоречивы; «хочется» человеку одновременно самых взаимоисключающих вещей. Эмоции — всего лишь эмоции: говорливый парламент, в котором ораторы так перебивают друг друга, что не приведи Господь! Мало того, что «психология» при таком взгляде — часть, утерявшая свое целое; она сама продолжает дробиться на атомы

противочувствий. Пунктом третьим идет «социология»: семья как «ячейка общества». Невкусно. Пунктом четвертым — «экономика»: совместное ведение хозяйства. Так. Пунктом пятым — «мораль». Час от часу не легче. А все вместе — не труха ли?

И не то—и не то—и не то.

Подобным же образом обстоят дела с материнством, отцовством, сыновством. Снова «физиология» (в данном случае «генетика»+«эмбриология»). Снова «психология» — не последнюю очередь, разумеется, всем известный Эдипов комплекс. Снова «социология»: семейное воспитание как общественный институт. Снова «экономика». Снова «мораль».

Все проекции — только не сама вещь, слава Создателю, известная мне по опыту. Неверующие люди обречены быть, в виде неизбежной компенсации, исключительно легковверными. Они принимают чертежи и схемы, полезные в деле, в профессиональном употреблении, но бессмысленные вне этого дела, за подлинный образ реальности.

Но я же знаю, знаю! Мой опыт мне дан, и забыть его невозможно. Ничего похожего на его несравненную простоту в вышеприведенных перечнях нет как нет. Но вот я слышу совсем иные слова — и настораживаюсь, и начинаю понимать опытно воспринятое. Скажем, это слова апостола Павла о том, что всякое отцовство на небе и на земле именуется от Бога Отца [Еф 3, 15]. И о браке: «Будут двое во едину плоть», — обескураживающая, неожиданная точность этих слов стала мне окончательно ясна, кажется, только после моей серебряной свадьбы. Не казенная «ячейка общества». Не романтический «союз сердец». Единая плоть.

\* \* \*Благословенная трудность семьи — в том, что это место, где каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу нашей жизни — к Другому.

Специально для брака свойство Другого быть именно Другим резко подчеркивает два запрета: библейский запрет на однополую любовь и общечеловеческий запрет на кровосмешение. Мужчина должен соединиться с женщиной и принять ее женский взгляд на вещи, ее женскую душу — до глубины своей собственной мужской души; и женщина имеет столь же трудную задачу по отношению к мужчине. Честертон, восхвалявший брак как никто другой, отмечал: по мужским стандартам любая женщина — сумасшедшая, по женским стандартам любой мужчина — чудовище; мужчина и женщина психологически несовместимы — и слава Богу! Так оно и есть. Но этого мало: мужчина и женщина, создающие новую семью, должны придти непременно из двух разных семей, с неизбежным различием в навыках и привычках, в том, что само собой разумеется — и заново привыкать к перепадам, к чуть-чуть иному значению для элементарнейших жестов, слов, интонаций. Вот чему предстоит стать единою плотью<sup>4</sup>.

Что касается отношений между родителями и детьми, тут, напротив, единство плоти и крови — в начале пути; но путь — снова и снова перерезание пуповины. Тому, что вышло из родимого чрева, предстоит стать личностью. Это — испытание и для родителей, и для детей: заново принять как Другого — того, с кем когда-то составлял одно неразличимое целое в теплом мраке родового бытия. А психологический барьер между поколениями до того труден, что поспорит и с пропастью, отделяющей мужской мир от женского, и со рвом, прорытым между различными семейными традициями, — уж этого-то в наши дни никому объяснять не нужно.

Ох, этот Другой — он же, по слову Евангелия, Ближний, о plhision! Все дело в том, что мы его не выдумали — он неумолимо, взыскательно предъявляет нам жесткую реальность своего собственного бытия, абсолютно не зависящую от наших фантазий, чтобы вконец нас измучить и предложить нам наш единственный шанс на спасение. Вне Другого нет спасения; христианский путь к Богу — через Ближнего. Это язычнику свойственно искать Бога прежде

всего в чудесах мироздания, в мощи стихий, в «космических ритмах», как выражаются наиболее склонные к подобному слогу среди наших современников, — или в не менее стихийных безднах собственного подсознания, населенного, говоря по-юнговски, «архетипами». Не то чтобы христианам было уж вовсе запрещено радоваться красотам Божьего создания; Господь Сам похвалил полевые цветы, превосходящие великолепием царя Соломона во всей его царской славе. Нет абсолютного запрета и на то, чтобы прислушиваться к голосам собственного молчания; но уж тут велено быть осторожными, чтобы не впасть нам в прелесть, не принять акустических фокусов нашей внутренней пустоты за голос Божий, — а то выползет из этой пустоты страшный зверь, именуемый в аскетической традиции «самость», и съест нашу бедную душонку, и уляжется на ее место. Двадцать пятая глава Евангелия от Матфея учит нас искать Бога прежде всего — в Ближнем: абсолютную инаковость Бога, *das ganz Andere*, «совершенно иное», как сформулировал немецкий религиозный философ Рудольф Отто ровно 80 лет тому назад<sup>5</sup>, — в относительной инаковости Другого, взыскательность Бога — во взыскательности Ближнего. «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». Что не сделано для Другого во времени, не сделано для Бога в вечности. Поэтому заповедь о любви к Ближнему «подобна» заповеди о любви к Богу [Мф 22, 39]. Но Бога, как отмечено в Первом послании Иоанна Богослова, никто никогда не видел; а потому, увы, нам нетрудно обманывать себя, подменяя реальность Бога собственной фантазией, выдумывая некоего удобного божка по заказу вышеназванной «самости», привязываясь к своей мечте и принимая эту привязанность за святую любовь. С Ближним, с Другим, проделать все это труднее — именно потому, что он Другой. Не дай Бог молодому человеку настроиться на то, чтобы искать «девушку своей мечты»; весьма велика вероятность, что как раз та, которая вполне могла бы стать для него радостью и спасением, наименее похожа на этот призрак, а другая, напротив, ложно ориентирует его обманчивым сходством. Не дай Бог начинающим родителям планировать будущие отношения с детьми на те времена, когда последние будут подрастать; все будет иначе. И слава Богу. Не дай Бог и детям из ложного пиетета в фантазии наделять своих родителей несуществующими добродетелями; во-первых, они рискуют не заметить за таким занятием того добра, которое есть, а во-вторых, самый неприглядный человек — более адекватный предмет для любви, чем самый импозантный истукан. Бог наш есть Сущий и Живый, и с мнимостями общения не имеет.

«Самости» трудно примириться с волей Другого, с правами Другого, с самим бытием Другого. Это искушение всегда наготове. Кто не знает хрестоматийной фразы из пьесы Сартра «Заперти» («Huis clos»): «Ад—это другие»? Но здесь самое время вспомнить слова Иоанна Богослова: «Кто говорит: «я люблю Бога, — а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» Всерьез принять волю Бога, права Бога, бытие Бога, Его присутствие — право же, не легче. Для нашей «самости» это как смерть. Впрочем, почему же «как»? Смерть и есть — без метафор, без гипербол.

А если абсолютную инаковость Бога, то есть Его трансцендентность, нам почему-то все же легче принять, чем весьма относительную, но непереносимую инаковость нашего собрата по принадлежности к роду человеческому, — уж не значит ли это, что с нами случилось наихудшее: что мы подменили Бога Живого — богом выдуманным?

Протестантский теолог Дитрих Бонхёффер, которому довелось заниматься теологией преимущественно в условиях гитлеровской тюрьмы и который был под конец войны гитлеровцами повешен, говорил, что самый безупречный способ пережить опыт Трансцендентного — это принять «я» другого. Не будем обсуждать специально бонхёфферовского контекста этого тезиса; отметим лишь, что тезис находится в добром согласии с упомянутой выше двадцать пятой главой Евангелия от Матфея. Есть над чем

задуматься: в глазах свидетеля правды Божией каждый другой именно в силу своей инаковости дарит нам переживание Бога; с точки зрения сартровского персонажа он по той же причине дарит переживание ада. Размышляя и над этим контрастом, и над природой ада, каковая, по совокупному свидетельству святого аскета VII в. Исаака Сириянина, Достоевского и Бернаноса, состоит в мучащей и уже окончательной невозможности ответить любовью на данность бытия Бога и Ближнего, и над тем многозначительным фактом, что один и тот же огонь является как символом любви, так и символом геенны, — я написал когда-то стихи. Решаюсь предложить их терпеливому читателю (напомнив, если нужно, что словами «услышь, Израиль» — *Ixgwu imw*, Второзак. 6, 4 — вводится знаменитое библейское исповедание единства Бога, Которого должно возлюбить «всем сердцем», «всею душою» и «всею силою»). А открываются они вышеупомянутой цитатой из Сартра.

«Другие — это ад»; так правду ада исповедал. Ум, пойми: в другом, во всяком, кто — другой, во всяком, кто — не я, меня встречает непреложно Единый и Единственный — услышь, Израиль! — и отходит вновь и вновь к Его единству, и превыше всехобособлений, разделений — то, что отдано другому: хлеб — и камень, любовь — и нелюбовь. И пусть их тьмы неисчислимы и толпы, этих других; и пусть земному чувству близость теснота, и мука тесноты, — Себя отречься Он не может: другу — и Друг, и Дружество; для нелюбви — воистину Другой. Любовь сама — неотразимый, нестерпимый огонь, томящий преисподнюю. Затворблагенной неразлучности — геенна есть теснота, и мука тесноты. Другой — иль Друг; любой — или Любимый; враг — или Бог. Не может Бог не быть, и всё в огне Его любви, и огонь один для всех; но аду Бог есть ад. \* \* \*

Разумеется, все, что сказано выше о благословенных трудностях семейной жизни, относится и к тому особому роду христианской семьи, каковой мы называем монашеской общиной. И в кругу монастыря теснота и принципиальная нерасторжимость отношений между людьми могут стать страшным испытанием. И там испытание это по сути своей — спасительно. «Претерпевший до конца спасется». Разумеется, между атмосферой монастыря и атмосферой самой набожной семьи есть бьющее в глаза различие; и все же сходство центральной проблемы и путей ее разрешения — существеннее. Не одежда и не набожная жестикоуляция делают монаха; и даже аскетические подвиги, при всей их важности, все-таки не так важны, как смирение, терпение, братолюбие и миролюбие. Как готовность умалить себя — перед другим. Как любовь.

«Если я раздам все имение мое, и если предам тело мое на сожжение, но любви не имею, — нет мне никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует любовь, не ревнует любовь, не кичится, не надмеается, не поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, но сорадуется истине; все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не кончается», — писал апостол Павел [1 Кор. 13, 3-8].

И еще парадигма семьи значима по отношению к такой общности людей, которая именуется родом человеческим. Это должно быть высказано без всякой тени приукрашивающей сентиментальности. Люди, конечно, и впрямь — братья; но, как заметил в свое время Волошин, со времен Каина и Авеля мы очень хорошо знаем, чем брат может быть для брата. О, еще бы, скажем мы сегодня. Братья сербы, братья босняки...

Стоит вспомнить, что когда Христа спросили, кто для человека — ближний, Он ответил — притчей о Милосердном Самарянине [Лк. 10, 29-37], т. е. о Милосердном Иностранце. Это было, сознаемся, довольно сильно: почти так, как если бы Он сегодня стал говорить боснякам — о Милосердном Сербе, или наоборот. (В гитлеровской Германии один честный священник в проповеди предложил своим слушателям подставить на место самарянина — еврея.) Не усматривается ли здесь крайнего обострения того принципа, о котором было говорено выше в

связи с запретом на кровосмесительные браки и согласно которому мы должны признать своего — именно в чужом и чуждом? Задумаемся о том, что в родословии Господа нашего по Евангелию от Матфея из женщин помянуты только те, которые приходили откуда-то извне: нет честных, почтенных матрон — ни Сары, ни Ревекки, ни Лии, ни Рахили, донныне поминаемых, как прообразы благословенного материнства в чине православного браковенчания, однако есть минимум три иноплеменницы — и хананеянка Фамарь, переодевшаяся языческой храмовой блудницей, чтобы зачать своих близнецов от Иуды, и Рахав, тоже хананеянка и к тому же впрямь блудница из города Иерихона, и моавитянка Руфь, прилегшая в поле к ногам седовласого Вооза, что было трогательно до слез, но ведь тоже довольно дерзновенно. А рода и племени Вирсавии, жены хетта Урии, мы не знаем; зато знаем ее историю. В целом не очень-то похоже на торжество чистопородности — ветхозаветного идеала «семени святого» [Ис 6, 13], «семени чистого» [Иер 2, 21]. Да и на торжество благонравия.

Зато эти женщины представляют все человечество, с разногласием языков, с разноречием устоев, нравов, обычаев. Со вселенской виной, которая только и может быть оправдана, что рождением Христа. Только и может быть искуплена, что любовью Христа.\*\*\*

Искушение, исправление, оправдание — это ключевые понятия христианства. Видишь ли, читатель: христианин — это здравомысленный зануда, которому при виде неправильно идущих часов является тривиальная мысль, что их надо снести в починку. А ведь возможны идеи, куда более интересные и острые. Например: никакого правильного времени все равно нет, правильное время — догматическая и авторитаристская выдумка. То, что показывают часы, и есть один из возможных ответов на вопрос: который час. Или так: часы есть предмет столь презренный, хотя бы по своей ориентации не на вечность, а на время, что надо не чинить, а поскорее разбить. На плотское бытие человека возможны два воззрения, наиболее противоположные христианскому. Первое — неоязыческое: пол не только не нуждается в очищении и освящении — напротив, он, и только он, способен оправдать и освятить все остальное. Когда-то на эту тему декламировали романтики, включая Ницше (которому это поразительно не шло). Потом ей посвятили немало красноречия Василий Розанов и Д. Г. Лоуренс. Ныне она чем дальше, тем больше отходит в ведение расторопной рекламы «девушек без комплексов». Второе воззрение — неоманихейское: пол до того дурен, дурен сущностно, онтологически, что ни оправдать, ни освятить его заведомо невозможно. Логически оба воззрения вроде бы радикальнейше исключают друг друга; предмет, однако, таков, что с логикой сплошь да рядом оказывается покончено очень скоро, и тогда оба умонастроения, становясь попросту настроениями, сменяют друг друга примерно так же, как сменяют друг друга эйфория и депрессия у невротика. Такой алогический маятник настроений чрезвычайно характерен для психологии того же романтизма, игравшего контрастами безудержной ангелизации и столь же безудержной демонизации эротического. Психология эта контрабандой просачивалась в христианскую мысль Владимира Соловьева, куда суровее относившегося к браку, чем к романтической и платонической влюбленности — при условии ее платонизма. Русскому читателю не нужно напоминать, как эта часть соловьевского наследия отыгралась в жизни и творчестве Блока. Но Соловьев или Блок — это уровень, как-никак трагический. В наше время он обычно сменен той простотой, что хуже воровства; но алогическое совмещение несовместимого при таких условиях еще больше бьет в глаза. Никогда не забуду, как одна поборница сексуальной революции, в пререканиях со мной чрезвычайно энергично отстаивавшая суверенную и самодостаточную красоту пола как такового, при очередной встрече вдруг принялась бранить природное поведение мужчин и женщин, что называется, последними словами. Слова эти, которых я, читатель, не стану повторять, ибо они противоречат достоинству предмета, который мы с тобой обсуждаем, поразили меня не своей грубостью — нынче мы стали привычны ко многому, — но только своею бессмысленностью. Ибо смысл, какой-никакой, они могли бы получить только в

контексте ложного аскетизма, осатанелого ханжества, — но уж не в контексте дифирамбов свободному сексу! Если это так хорошо, с какой стати это так плохо (или наоборот)? Где же логика? Но князь мира сего достаточно опытен, чтобы знать, сколь мало чада мира сего озабочены логикой. Модная словесность, как правило, ведет себя так же, как эта дама: она исходит из того, что все можно — и все гнусно. Если гнусно — по отношению к какой точке отсчета, к какой заповеди, к какой высоте и чистоте? Ведь всякая оценка логически предполагает ценность; всякое осуждение логически предполагает закон. Да нет, уверяют нас: никаких точек отсчета, никаких заповедей и законов, никаких вертикальных координат, — все гнусно, но гнусно «просто так», без соотнесения с чем бы то ни было. Ничто ни из чего не вытекает, ничто ни к чему не обязывает... И наивной представляется надежда Т. С. Элиота, оглядывавшегося на бодлеровский пример, будто inferнальные дьяблерии кому-то докажут от противного бытие Блага. Когда-то оно так и бывало: еще Поля Клоделя чтение Рембо обратило к вере, да и Элиоту Бодлер, кажется, помог. Но доказать можно лишь для тех, кто еще не отрекся от логики. Современники наши, увы, уже не раз некритически принимали различные виды идеологий, совмещающих самое несовместимое. Проглатывают и эту.

В противность и язычеству, и манихейству христианское учение о плотском естестве человека — сплошная проза, разочаровывающая романтиков. Христианская интуиция говорит, что тут все вовсе не так радужно — однако и не так безнадежно. Даже в самом лучшем, самом благополучном случае остается насущная нужда в очищении и освящении. Даже в самом тоскливом случае путь очищения не может быть окончательно закрыт. Природа человека испорчена грехом много основательно, чем когда-либо снилось руссоистам; и все же она именно испорчена, а не дурна изначально. Грязь, как известно, — это субстанция не на своем месте; к реальности пола это приложимо до того буквально, что и не решишься выговорить. Зло безбожной и бесчеловечной похоти — это зло духовное, а не сущностное, оно укоренено в «самости», в эгоизме, в ложном выборе, а не в онтологических структурах. Как указывал в свое время К. С. Льюис, для христианина нет какой-то особой сексуальной этики — есть просто этика, единая и неделимая: скажем, супружеская неверность дурна потому же, почему дурно всякое вероломство по отношению к доверившемуся. Нельзя лгать, предавать, нельзя самоутверждаться за счет ближнего, нельзя увлекаться эгоцентрическим самоуслаждением, все равно, собственно плотским или душевным, — в этих отношениях, как и в любых других. И если Синайское Десятословие все же выделяет «не прелюбы сотвори» — в отдельную заповедь, то это потому, что в случае прелюбодеяния поселившаяся в душе ложь растлевает и тело, то есть с особой, уникальной полнотой заражает все психофизическое существо человека сверху донизу. Блуд есть великий грех души против тела. «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела», — говорит апостол Павел [1 Кор. 6, 13]. Именно высокое достоинство тела — для него верховный аргумент против допустимости блуда. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела; а блудник грешит против собственного тела. Разве вы не знаете, что тела ваши — это храм живущего в вас Святого Духа, Которого получили вы от Бога, и вы уже не себе принадлежите?» [там же, 18-19]. Почему-то оппоненты христианства сплошь да рядом воображают, будто для христиан источник греха — материальное начало. Это, что называется, с точностью до наоборот. Чему-то более или менее похожему учили языческие платоники и неоплатоники, затем — те же манихеи; а вот христиане с ними спорили, так что платоники даже корили их — вот парадокс для современного человека! — за чрезмерную любовь к телу. Когда мы внимательно вчитываемся в библейские тексты, особенно новозаветные, мы убеждаемся, что слово «плоть» в сколько-нибудь одиозном смысле не является синонимом «телесного», «материального». «Плоть и кровь» — это, так сказать, «человеческое, слишком человеческое», только-человеческое в противоположность божескому. «Не плоть и не кровь открыли тебе это», — говорит Христос Петру [Мф 16, 17], и это значит: не твои человеческие помышления. «Поступать по плоти» — идти на поводу у самого себя, у своей «самости». «Живущие по плоти о плотском помышляют» — эти слова апостола Павла [Рим 8, 5] содержат

не хулу на телесное измерение человеческого бытия, но приговор порочному кругу эгоистической самозамкнутости, отвергающей высшее и свой долг перед ним. Когда же «плоть» по контексту означает «тело», негативные обертоны полностью отсутствуют. Как разъясняет пятнадцатая глава Первого послания к коринфянам, «не всякая плоть — такая же плоть», и в воскресении мертвых человек получит духовную плоть, «тело духовное»; философски образованные язычники, привыкшие в согласии с Платоном оценивать тело как мрачную темницу духа, диву давались — зачем этим христианам воскресение плоти? И верховная тайна христианства зовется Воплощением Бога: «Великая тайна: Бог явился во плоти» [1 Тим. 3, 16].

Однако человек устроен вертикально. Прямохождение, столь характерное для человеческого естества, со знаменательностью иконы или иероглифа возносит чело и очи — над более чувственными устами, лицо в целом — над грудной клеткой, сердце — над тем, что Бахтин назвал «телесным низом». Нижнее не отвержено, не проклято; но оно должно быть в послушании у высшего, должно знать свое место. Этот принцип сам по себе характеризует не то чтобы христианскую этику, а попросту человеческую этику; человек достоин своего имени в такой мере, в какой подчинил свое тело — своему духу, своему уму, своей воле и совести. С этим всегда полагалось соглашаться любому пристойному агностику. Специфична для христианства тенденция прямо или косвенно связывать кризисы послушания тела духу с теми моментами, когда человеческий дух сам сознательно или бессознательно выходит из послушания у Духа Божия. С христианской точки зрения, серьезность блудных, нечистых помыслов и состояний, при которых плоть бунтует против духа, обусловлена в основном их значением как симптомов. Когда человеческий дух берет, так сказать, не тот угол по отношению к своей горней цели, когда духовная жизнь заменяется самоутверждением, самоуслаждением и самообманом (на аскетическом языке — «прелестью»), — особенно велико вероятно, что воля внезапно спасует перед самым пустым, самым вздорным, самым низким «хочется»; в том числе и у человека, которого все, включая его самого, просто привыкли считать просто неспособным ни на что подобное. В повести Льва Толстого тот самый отец Сергей, который отрубил себе палец, чтобы не впасть в блуд, уступает самому тривиальному соблазну — но лишь после того, как подвижничество стало фальшью, заросло «славой людской». Как бы ни обстояло дело с толстовским еретичеством — анализ этого казуса обретается в самом безупречном согласии с традицией христианской аскетики. «Рыба гниет с головы»; первоначальная порча идет, как правило, не снизу, а сверху, не от плоти, а от ума и духа — когда последний становится в самом буквальном смысле «нечистым духом». Раствление плоти — как бы материализация раствления духа. Собственно говоря, пол как таковой — на языке наших современников, секс — есть абстракция, имеющая смысл в контексте анатомии и психологии, но отсутствующая в «экзистенциальной» реальности человека; именно потому, что человек есть существо, телесная жизнь которого никогда не может иметь невинной самоидентичности телесных отпавлений животного. Все в человеке духовно, со знаком плюс или со знаком минус, без всякой середины; то, что в наше время на плохом русском языке принято называть «бездуховностью», никоим образом не есть нулевой вариант, но именно отрицательная величина, не отсутствие духа, но его порча, гниение, распад, заражающий вторичным образом и плоть. Поэтому человеку не дано в самом деле стать «красивым зверем» — или хотя бы некрасивым зверем; он может становиться лишь все более дурным человеком, а в самом конце этого пути — бесом. Но этот несчастный случай лишь сугубо поверхностно, без должной богословской и философской корректности можно описывать как победу материи над духом. В конце концов бес — существо духовное, «нечистый дух». Пол сам по себе, как предмет соответствующих научных дисциплин, духовно, нравственно и эстетически бескачественен (это мы и хотели сказать чуть выше, отмечая, что «экзистенциально» он есть нечто несуществующее); свою злокачественность или доброкачественность, свое проклятие и раствление, или, напротив, очищение и освящение он получает извне, от иных, отнюдь не материальных уровней нашего бытия. Но нас занимает вопрос об очищении и освящении. Как



будто бы сказала королева Виктория на военном совете в ответ на чье-то «в случае поражения...»: «Случай поражения Наше Величество не интересует». Да ведь он и впрямь абсолютно неинтересен. Именно сексуальная революция окончательно отняла у разврата прелесть опасного и дерзкого вызова, занимательность таимого секрета, неслыханно обнажив его тривиальность, да еще и создавши для защиты его «прав» систему идеологических клише, занудно предсказуемых, как любые клише подобного рода. В наше время грешники и блудницы переханжат любого ханжу, перефарисействуют любого фарисея. Радоваться этому было бы неразумно: одно из главных орудий ада — тривиализация самого соблазна, метафизическая скука. Это опаснее страсти. Обуреваемые страстями находили, бывало, путь к огненному покаянию, — а тут утрачен тонус, делающий покаяние возможным.

Итак, перейдем к материям совсем несхожим.

Апостол Павел говорит о женщине: «она будет спасена через деторождение»; он заканчивает фразу, говоря об обоих супругах: «...если они пребудут в вере и любви и освящении с целомудрием» [1 Тим. 2, 15]. Стоит отметить, что в греческом подлиннике (как и в других древних языках — еврейском и латинском) слово, переводимое как вера, означает также и «верность» (*hnuma, pistij, fides*). До сих пор в некоторых контекстах употребительно церковнославянское обозначение верующих — «верные» («литургия верных»). Едва ли благоразумно было бы сказать, что у одного и того же слова — два альтернативных перевода: или «вера», или «верность». Что называется, омоним, как «лук» — растение и «лук» — оружие. Вот уж нет: в том-то все и дело, что для Библии Ветхого и Нового Завета — вера и есть верность, верующий и есть верный. Но это — сюжет настолько важный, что к нему еще будет необходимо вернуться. Пока продолжим обзор приведенных слов апостола Павла.

«Спасена через деторождение»: апостол имел основания особенно акцентировать этот момент для женщины. Материнство естественным образом занимает в ее жизни гораздо более существенное место, чем отцовство — в жизни самого чадолюбивого, доброго и ответственного мужчины. Каждый из нас, кто был в младенчестве вскормлен материнской грудью и утешен материнской лаской, получил первоначальное посвящение в высокие таинства; мы не в меру легко это забываем и начинаем ни во что не ценить — но Вяч. Иванов, знавший толк в посвящениях, сумел воспеть эту инициацию в сонетах своей «Нежной тайны».

Всем посвящения венцы Нам были розданы — и свиток Прочитан всем, — и всем напиток Летейский поднесли жрецы...

Мать, кормящая и, по чудному русскому народному выражению, жалеющая свое дитя, есть недостойный, но подлинный образ — чего? Конечно, пренепорочного Материнства Пресвятой Девы; но осмелимся и возьмем еще выше. Слово, означающее в Ветхом Завете милость Божью, образовано от корня, означающего, собственно, материнскую утробу; память об этом сохранена в диковинном славянском словообразовании «благоутробие». Пророк Исаия, между всех пророков пророк милости, вновь и вновь прибегает для описания Божьей ласки к метафорам материнства:

«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, в ликовании: ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня! «Забудет ли женщина младенца своего, Не пожалеет ли сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя».[49, 13-15] «На руках будут носить вас на коленях ласкать; как утешает кого мать его, так утешу Я вас, и во Иерусалиме будете вы утешены».[66, 12-13]

Милость Божья, по Исаие, — материнская, и даже более материнская, чем материнская: «но

если бы и она забыла, то Я не забуду».

Боже избави, говоря о подобных материях, впасть в слезливую сентиментальность, наподобие атмосферы картин Жана-Батиста Греза. И все же позволительно сказать, что какой-то аспект реальности адекватно воспринимает бессловесный младенец, переживающий материнскую ласку как милость Бога, еще не отличая образа от Первообраза. По крайней мере, пророк Исаия его оправдывает. Потом человек научается различать; он получает знания о своей земной матери и вообще о своих родителях, каковы знания даже в самом отрадном случае, когда по земной мерке родителям хватает достоинств, а ему — пиетета, все же несколько печальны в сравнении с первоначальным опытом. Но не дай Бог ему забыть то, что он знал прежде всякого иного знания. Он — знал, и не может отговариваться незнанием. Теперь может приходиться горький опыт жизни. Он уже побывал в силе и славе.

Традиционные учителя христианского нравственного богословия были совершенно правы, когда квалифицировали добрую волю к порождению детей как необходимое условие оправдания и освящения брачной жизни. Это действительно условие необходимое — но еще не достаточное. Недаром апостол Павел продолжил: «если они пребудут в вере и любви...»

Испокон века люди чувствовали: если Бог послал земные блага, не грех сесть вместе за пиршественный стол — но под страхом позора и срама необходимо, чтобы совместное вкушение яств и напитков, «радующих сердце человека», знаменовало и символизировало нечто, выходящее далеко за пределы простой чувственной услады. Оно должно быть знаком и символом ненарушимого патриархального мира между всеми, кто разделит трапезу. Без этой заповеди, древней, как род человеческий, и поднятой на непредставимую высоту в христианском таинстве Евхаристии, — пиршество превращается в акт «чревоугождения», недостойный человеческого достоинства; сотрапезники уже не «вкушают», они «жрут» и «напиваются». Тот же закон имеет еще большую силу в применении к брачному ложу. Самая плотская ласка, чтобы не стать несносной мерзостью, должна знаменовать и символизировать самое духовное, что может быть: безоговорочное взаимное прощение и безграничное взаимное доверие. Супруги, которые приближаются друг к другу, чего-то не простив, припрятав камень за пазухой, практикуют блуд и в браке.

Самое телесное как знак и одновременно реальность незримого духовного: это дефиниция христианского таинства. Омывающая крещальная вода — знак и одновременно реальность незримого духовного омовения. Телесное вкушение Святых Даров — знак и одновременно реальность приобщения Неотмирному. Брак апостол Павел тоже называет таинством, даже «великим» таинством [Еф. 5, 32]; и это самое высокое, что можно сказать о браке. Головокружительно высокое. И он добавляет: «говорю же я применительно ко Христу и церкви». Смысл этих слов, не всегда удобопонятных для современного человека: в своей высшей точке брак есть знак и одновременно реальность отношений между Христом и церковью. «Мужья, любите жен своих, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее».

Ключевое слово Библии *tyrb* по традиции передается славяно-русским словом «завет». «Заклучил Господь завет с Авраамом» [Быт. 15, 18]. «Поставлю завет Мой с ним заветом вечным» [Быт. 17, 19]. Собственно, оно означает «союз», «договор»; иногда — «брак» [Малахия 2, 14]7. Прежде всех «атрибутов» Бога, как будет выражаться позднейшая рефлексия, Библия познает и восхваляет незыблемую, алмазную верность Бога: «Бог верный хранит завет Свой». Даже слово библейского обихода, традиционно переводимое как «истина» (*tmX*), имеет внятные смысловые обертоны «верности»8. На верность Бога человек призван ответить верой и верностью — вот почему эти понятия в Библии тождественны! В противном случае он вызывает против себя праведную ревность Бога: «Господь есть Бог Ревнитель». Пророки не устают описывать «завет» между Богом и Его народом как нерасторжимый брак с недостойной, но

любимой женой, которая не будет Им оставлена. Недаром в канон Ветхого завета не могла не войти — Песнь Песней.

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность.»[8,6].

Приход Мессии ожидали, как приход Жениха, Возлюбленного (евр. *gvd*), Который заключит Новый Брак — Новый Завет. Недаром Свое первое чудо Христос совершил на брачном пиру в Кане Галилейской; недаром также постоянный образ полноты времен в евангельских притчах — брачная трапеза.

Вот что знаменует христианский брак как таинство. Понятно, что такой брак не может быть «практичным» временным контрактом. Он нерасторжим в принципе, по своему смыслу, и это не потому, что попам захотелось помучить людей, а потому, что союз безоговорочного прощения и безграничного доверия заключается только навсегда. Потому, что вера и верность, достойные такого имени, конца не знают. Потому, что завет Божий есть завет вечный.

«Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей», — как сказано у пророка Малахии в упомянутом чуть выше месте, том самом, где употреблено поразительное, непере译имое выражение — ..., буквально «жена завета твоего».

## Священник Георгий Кочетков: Беседа с молодежью о Христианском браке

Церковь и семья

**О. Георгий.** Братья и сестры, есть вещи, о которых в обществе не говорят... И так было всегда, хотя это сейчас пытаются объявить чем-то ханжеским, устаревшим — обо всем, мол, теперь можно говорить. Но это неправда. Не обо всем и не со всеми можно говорить. Вот с вами, здесь, при более-менее однородном составе можно говорить о многих вещах. Вы люди верующие и взрослые, хотя и называетесь «молодежной группой». Надо еще иметь в виду, кто говорит об этих вещах. Мне приходилось участвовать в таких беседах, читать лекции на темы «Позволительно ли человеку разводиться» или «Что такое разврат духа, души и тела». Было важно, что речь шла не только о телесном разврате, но и о духовном, и о душевном. Когда-то приходилось мне на эту тему выступать и на телевидении, еще с Листьевым, но это было крайне неудачно; он там сделал очень плохую вещь, перевернув все с ног на голову, т. е. совершенно неадекватно отразив то, что было на встрече, когда шла запись. То, что потом выпустили в эфир, было прямо наоборот, все то же самое, но только наоборот. Поэтому я зарекся на телевидение приходить, если не буду знать, что пойдет в эфир. Жалко, что это был все-таки Листьев. Я не думал, что так все произойдет. Но он ведь тоже был не ангел. Очень жаль, что приходится добавлять «был». Как-то в одной из передач он беседовал с сексопатологом с такими жуткими баками... Как же называлась передача? «О наслаждении»! Да, вот именно так восклицал этот несчастный сексопатолог; он делился своим богатым опытом и жаловался только на одно — что «у нас не хватает культуры измены».

*Реплика из зала:* Изменять нужно по-культурному...

Да-да, это было очень «здорово», конечно. Так вот, я это вам рассказываю как пример того, что вы часто можете видеть учителей, которые на самом деле — лжеучителя. Особенно в этой

области. Впрочем, такие же лжеучителя очень часто выступают от имени Востока. И это не обязательно какой-нибудь тантризм, есть и более мягкие формы. Вообще для наших современников это почти всегда фактически уход в разврат. Вот, очень много сейчас секс-гуру, не только Раджниш. Его так красиво называли — секс-гуру. И он действительно в этом плане выдающаяся личность. Думаю, не все из вас знают Раджниша, но кто-то, наверное, знает. Кто-нибудь читал Раджниша? Три человека всего? *Смех в зале.*

*Вопрос.* Что он еще написал?

**О. Георгий.** Раджниш много чего написал. Он учил людей жить радуясь. Правда, иногда это у него проходило не просто через секс, а через какие-то садомазохистские штуки. В Дании я видел фильм о нем, где его ученики избивали друг друга до полусмерти...

*Из зала:* Радуясь?

**О. Георгий.** Да, радуясь. Когда человек входит в экстаз, он готов и делать что угодно, и терпеть что угодно. Такие люди есть. Правда, это на грани психопатологии или какого-то извращения, но такие люди есть, и самое главное — их все больше и больше. Вы это прекрасно знаете. И по телевидению об этом постоянно что-то показывается и говорится, и в газетах об этом постоянно что-то пишется: вот там такое-то убийство, такое-то зверство, расчленение человека на части... Я не буду пересказывать, вы все это лучше меня знаете. Важно то, что люди готовы на любое зверство, на любые штуки ради получения при этом удовольствия, как известно, в первую очередь сексуального. Об этом не всегда говорят открыто, но взрослые люди, а значит и все вы, это прекрасно понимают. Это стоит между строк. Да, часто это связано и с шизофренией, и еще с какими-то вещами, как большинство извращений. Это почти всегда психическая недостаточность, но очень важна и обратная связь. Когда человек что-то не то делает в области секса, это действительно ведет его к повреждению душевному. И духовному — добавим мы с вами. Об этом говорят еще в сто раз реже. То, что человек может оказаться в психиатрической больнице, более-менее очевидно. Любой из вас, кому по каким-то причинам приходилось сталкиваться с такими больницами, прекрасно знает, что значит там этот сексуальный элемент. Я не буду входить в медицинские термины, хотя здесь есть еще и специальная терминология. Это было бы слишком много для одной беседы. Но самое важное не то, что человек просто с ума сходит, что он повреждается, что в нем рождаются какие-то вещи, которые его раздваивают. Вы сами понимаете, что надо немножко быть не в себе, чтобы получать удовольствие от мучений другого человека, от насилия над другим человеком, от убийства, от всякого рода расчленения — мол, все нужно увидеть изнутри по частям. Но я хотел бы сделать акцент на том, что в этих случаях человек повреждается в первую очередь духовно.

Впрочем, как это ни странно, иногда об этом заговаривают даже психологи. Недавно по телевизору я уловил один такой мотив, правда, прозвучавший очень неуклюже, как это бывает у психологов, даже если они говорят что-то более-менее приемлемое. Было сказано, что даже простая сексуальная связь вне брака рождает пустоту в душе, особенно у мужчин, но это сейчас неважно. Такую пустоту, которая остается в душе очень долго, ввергая человека в депрессию. Это по меньшей мере душевный симптом, не только психологический, но немножко и психический. Человек, даже вполне уважаемый, вполне успешный во всем, в том числе и в так называемой любви, в этих случаях очень многое теряет, он теряет себя. Человек готов вступить в эти сексуальные связи, в брачные отношения с кем-то, и он хочет это делать ради того, чтобы реализоваться, как-то себя раскрыть, найти возможность объединиться. У человека есть совершенно неизбывная потребность быть в единстве с кем-то. И, к слову говоря, вот тут и происходит сбив, и отсюда обвал. А вот эта потребность единения, как вы знаете, основана как раз на любви. Все христианство можно было бы описать с этих позиций.

Самое главное в христианстве — это любовь, потому что Бог есть Любовь и Единение. Преодолеть «ненавистную рознь мира сего» — помните эти слова преподобного Сергия Радонежского? — можно только тогда, когда в тебе есть любовь. И чем больше любви, тем больше единение.

Но люди, всю жизнь стремясь к такому духовному коммунизму, постоянно наталкиваются на проблемы и на неудачи. Вы хорошо знаете, единственная эпоха, которая была полностью удачной в этой области, — это эпоха апостольского времени, это I век. И всё. Потом это было только эпизодически, фрагментарно. Если бы этого совсем не было, то и христианства давно бы не было. Если бы не было единения, не было любви, то ничего бы не было. Церкви бы не было. Были бы одни руины церковных стен в нас и вокруг нас.

Вот это я тоже хотел бы вам сразу сказать. Здесь как раз те вещи, о которых стоит думать христианину, именно христианину, потому что христианство не позволяет себе смотреть на человека дуалистически, разрывая, противопоставляя, сталкивая друг с другом тело (или плоть) и дух. В монашеской традиции иногда этот разрыв был, но под влиянием язычества. Язычество действительно сильно влияло на монашескую традицию всегда, с самого начала его возникновения и тем более в период упадка. И эти вещи очень серьезны. Христианство не противопоставляет, не сталкивает плоть и дух, а может говорить и говорит и о Святом Духе, и о духе нечистом, и о плоти святой, чему подтверждение — мощи, и о плоти, которая является атрибутом и символом лежащего во зле мира сего, если люди живут «по плоти».

Когда мы хотим сказать, что человек мирской, не духовный, что мы о нем говорим? Есть много форм выражения некрасивых, но я не буду о них говорить. Мы же говорим, что он живет «по плоти». Однажды был у меня повод подробно говорить об этом в проповеди, говорить о разнице жизни «во плоти», что христианство вполне признает, так что, более того, плохо относится к развоплощению, к борьбе против плоти, к уничтожению и уничтожению плоти, и жизни «по плоти», т. е. по законам мира сего. А вы знаете, сказано: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо то, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». И, к слову говоря, это вещи все совершенно единые. Не нужно думать, что где-то отдельно существует похоть плоти, где-то отдельно похоть очей — хочу, хочу, хочу..., как сейчас в рекламах, а где-то отдельно гордость житейская.

*А.М. Копировский.* «Гордость житейская» в переводе еп. Кассиана — тщеславие, богатство; буквально «гордость житейская» — это радость от собственного богатства.

**О. Георгий.** Да, но это в том числе. Здесь на самом деле всё вместе, очевидный комплекс, просто с трех сторон описывается одно и то же. В Писании говорится, что «дружба с миром есть вражда против Бога». Прямо говорится, совершенно однозначно. Потому что то, что в мире, есть то-то и то-то: похоть.

Я хотел бы вам напомнить еще одну деталь, которую многие из вас помнят, а может быть, даже и нет. Когда появляется «вожделение»? Помните в Библии? Скажите, кто сразу вспомнит, где первый раз встречается это слово?

**Из зала.** При грехопадении.

**О. Георгий.** Да, совершенно верно. В процессе грехопадения, когда Ева впервые увидела древо познания добра и зла вожделенным, приятным для глаз, и приятным для пищи, но главное — вожделенным. Вообще говоря, «приятно для глаз» может быть и независимо от грехопадения. Есть некие качества гармонии и красоты: когда человек видит что-то красивым, то это привлекательно, это приятно для глаз. И, к слову, сам человек обладает качеством красоты и

должен обладать им. Человек должен быть красив. Всякий человек. Только не забудьте, что красота и доброта — это две стороны одной медали. Если человек хочет быть красивым, но это делается за счет доброты, он никогда красив не будет. Даже если он природно красив, просто по генам. Есть такие нюансы в выражении глаз, лица. Вы знаете, что даже природно красивые черты могут стать отвратительными, а природно не очень гармоничные и не очень красивые становятся симпатичными, привлекательными. И это зависит от одной вещи — есть ли эта гармония красоты и доброты в человеке. Я это говорю вот почему. С нашей темой, как вы понимаете, связаны понятия красоты, привлекательности, симпатии, единения, какого-то притяжения. Если люди симпатизируют друг другу, они действительно хотят быть в единстве: в единстве духовном, в единстве душевном, а нередко, и не только среди молодых, это вырастает в какие-то формы желания единения и по плоти, телесно.

Наверное, основное, что нужно было сказать вначале, прежде чем вы зададите свои вопросы, я уже сказал. Мне сразу хотелось как бы дать тон, напомнить вам какие-то важные вещи из опыта христианской жизни и из современной жизни вообще.

Итак, бойтесь более всего лжеучителей, потому что они действительно приведут вас к гибели. Эта гибель в наше время, как вы понимаете, раскрывается очень однозначно, она настолько конкретна, что «дальше ехать некуда». Такого никогда в истории не бывало! Какие-то непорядки, преступления, смертные грехи, убийства, насилия, какие-то психические завихрения были всегда, но чтобы это было настолько цинично, открыто и столь массово — такого не было никогда.

Более того, поныне есть, так сказать, агрессия сексуальной революции. Современная сексуальная революция проявила себя как нечто совершенно не связанное с любовью. Любовь здесь воспринимается только одним образом. Любовь проявила себя в сексуальной революции как нечто, где нет любви, где есть лишь стремление к наслаждению за счет другого. Да, существует и такой «вампиризм». Отсюда — колоссальная сила агрессии, так что люди должны подчиняться «законам» сексуальной революции. Например, когда кто-нибудь лишь пикнет что-то против гомосексуализма, ему тут же говорят: «Да ты что — не современный человек?» И попробуй еще раз пикни. Забивают сразу. При этом все прекрасно понимают, что разворачивают другого, и более того — насилуют его. Это вещи серьезные, и особо серьезны они именно потому, что они агрессивны и рвутся стать господствующими. Теперь всякого рода меньшинства, в том числе и сексуальные, хотят стать большинством. Идеологически это уже давно сказано. В газетах этих меньшинств подсчитывают, сколько человек в их лагере. И этот процент все время увеличивается. Скоро они действительно будут считать, что нормальные отношения между мужчиной и женщиной — это что-то такое допотопное и вообще дегенеративное. Увы, это так. Повторяю, для христианина это принципиально важно ощущать не только тогда, когда он думает о себе, но и когда вообще он что-то думает о людях, об их отношениях, в том числе и сексуальных, плотских.

Я хотел бы напомнить вам еще две вещи. В понятиях «тело» и «плоть» есть разница. Это совсем не одно и то же, когда мы говорим о плотских и о телесных отношениях, о потребностях тела и о потребностях плоти. Это вы должны понимать. В греческом языке есть два разных слова — «саркс» и «сома». Сома — вспомните соматические какие-то вещи, телесные, а саркс — плоть, т. е. живое тело. «И Слово стало плотью» — помните Евангелие? Не телом, вернее не только телом. Меня шокирует, когда я читаю лютеровский перевод Евангелия на немецкий язык. Там в этом месте стоит «фляйш». Сразу как будто попал в лавку мясную, где окорока и все такое... Слово Божие стало «фляйш», «мясом». Страшное дело! Это первое.

И второе. Нужно различать вещи, связанные с браком и семьей, не только в их связи с отношениями плотскими и телесными. Когда мы говорим о сексуальных вещах, это все-таки

понимается вполне определенным образом, это то, что связано с полом человека, с реализацией и раскрытием его пола в семье. Другое дело, когда мы говорим о любви, в том числе и брачной, это не тождественно разговору о сексуальном. Я вам хотел бы об этом напомнить. И значит, когда мы говорим о брачных и семейных отношениях, при всем том, что эти вещи очень близки, они пересекаются, обязательно пересекаются, это вещи разные.

Ну вот, я вижу, что вы достаточно внимательно слушаете, и надеюсь, что вы понимаете все то, о чем идет речь, что вы с чем-то соотносите это в своих знаниях, в своем опыте. И теперь я хотел бы, чтобы вы задавали какие-то свои вопросы после моей общей беседы, общего слова. Важнее всего, как вы ощущаете проблемы, как вы их видите, и что для вас горячее. Ведь говорить вообще на эти темы можно бесконечно. Это одна из огромных областей человеческой жизни: и традиции, и культуры, и духовности. Поэтому я сейчас прошу вас задавать любые вопросы — большие и маленькие, внешние и внутренние, идеалистические и практические, какие хотите. По возможности изъясняйтесь не высоким штилем, а попроще, поконкретней. Только давайте не уходить в вещи интересные, но, может быть, далекие от вашей жизни.

Теперь начнем разговор, и если почувствуем, что его не кончили и надо было бы продолжить, мы его продолжим, но только, если у вас еще будут вопросы, проблемы и если действительно это будет нужно.

**Вопрос.** Батюшка, хорошо, если бы мы поговорили на тему выбора. Все мы находимся на пороге выбора невесты или супруга. В церкви очень много «синих чулков», подвижниц, которые «высыхают на корню». Жалко женщин. Хорошо бы мы поговорили на тему выбора спутника, это большая проблема.

**О. Георгий.** А в чем здесь проблема?

**Вопрос.** Общие принципы подхода.

**О. Георгий.** «Общие принципы подхода» даны нам в Писании, как вы знаете, где сказано: хочешь жениться — ищи жену, не хочешь — не ищи. Это очень важная вещь, друзья мои. Дело в том, что современный человек как-то очень странно устроен: какие-то очень простые вещи, которые испокон веков всем были известны и понятны, вдруг почему-то для людей перестали существовать. Люди теперь считают, что все на них должны бросаться, и не иначе. И вот когда будет, так сказать, каждый день по десять предложений, тогда они, может быть, снизойдут и выберут. Ну поэтому с возрастом и «синеют», как бы приобретают определенные мизантропические черты. Мне кажется это очень важным. Тот, кто ищет, тот найдет. В Евангелии сказано: «Ищите, и найдете». О чем это сказано? **(Смех в зале.)** Обо всем, и в том числе о человеке, который хочет создать семью, считая, что он созрел для этого и действительно может нести за нее ответственность. Семья — это ответственность. Ну тогда дело только за человеком, которого бы он любил и который бы любил его. Любовь-то всегда взаимна, имейте это в виду. Любовь всегда взаимна, невзаимной любви не бывает. Другое дело, что бывает, когда в поисках взаимной любви людям приходится долго проводить свое одинокое житие-бытие. Иногда они находят ее только на небесах. Это вопрос другой. Но тем не менее это так, это закон жизни. Поэтому ищите, ищите. Вы понимаете, поведение человека, который хочет создать семью, и того, кто не хочет ее создавать, даже если он все же стремится получить какое-то мгновенное удовольствие, очень различается. Люди многое не понимают в отношениях друг с другом, но они многое чувствуют коркой или подкоркой, сердцем или не сердцем, или еще чем-то. Другое дело, что нужно смотреть. Выбор действительно очень часто бывает реальным выбором. И тут надо знать и учитывать рекомендации церкви.

Допустим, церковь рекомендует, чтобы создавались семьи людьми одной веры. И эта

рекомендация очень серьезная. Вот вам это сейчас, может быть, труднее всего понять, потому что вы воспитаны на идее свободы любви, причем под этой свободой часто подразумевается полный хаос, полный произвол. «На того глаз положил, кто мне чем-то угодил» — и всё. И какая разница, какой он там веры? Или вообще неверующий, или мусульманин... Да какая разница. Слюбится — стерпится. В наше время огромный процент случаев, когда такие браки не держатся. Они не скрепляются ничем. Год — другой проходит, первые страсти улеглись — и всё. И ничем не удержишь, тут невозможно сохранить семью. Люди расходятся, причем уже, естественно, с раной в душе. Или в семье начинаются совершенно фантастические вещи. По-моему, даже в вашей молодежной группе была одна дама, которая, несмотря на все советы не спешить, вышла замуж за мусульманина, у которого был просто маленький гаремчик. Он говорил, что обязательно крестился бы, только боится своих родных, которые его непременно убьют. Ну, конечно, убьют! Это так понятно. Так вот, несмотря на все советы не спешить, она все же сделала по-своему. Наверное, там было просто желание выйти поскорее замуж, да за богатого. Думаю, что такие браки обречены. Было у нас несколько таких случаев, и два из них — очень серьезные.

Если вы действительно хотите выбирать, т. е. хотите ввести сюда какие-то критерии качества и какую-то основательность, на такие вещи надо обращать внимание. Другое дело, что из таких правил бывают исключения. Да, бывают. Здесь нельзя канон воспринимать как закон. Канон — потому и не просто закон, что он знает свои исключения. Но нужно десять раз подумать, прежде чем решить: твой случай — это исключительный случай, или все-таки обычный? Мы очень часто хотим ходить в исключительных, а на самом деле в исключительных не ходим, мы обычные люди, самые обыкновенные. И ничего исключительного нет. Вот, пожалуйста, обратите и на это внимание.

Итак, церковь даже канонически определяет, что брак должен заключаться между людьми одной веры. Да, могут быть исключения, особенно в странах, где православных фактически нет. Например, Финская церковь, которая живет в окружении инославных, инаковерующих. Конечно, здесь очень высок процент браков с неправославными. Но все-таки самые крепкие браки у тех, у которых есть духовное единство. Если человек часто не может даже с единомысленными и единокровными людьми находить общий язык, то как он найдет его с людьми неединомысленными, неединокровными? И вообще в жизни единокровие, единомыслие, единоверие имеют огромное значение.

В древности, и не только в древности, но и в старые времена, были еще и другие, как бы дополняющие вещи. Например, устанавливались всякого рода испытательные сроки, когда люди становились сперва женихом и невестой. Да, сначала обручались. От обручения до свадьбы мог быть испытательный срок, и не два дня, и не месяц. Это могло длиться годы, когда люди не имели брачных отношений, но уже были в какой-то степени в браке — обрученными друг другу. Еще можно было развестись, но это уже не просто так — взяли и разбежались. В Иудее для этого даже нужен был целый юридический процесс. Это все было. Далее, было нужно благословение родителей. Причем в церкви до революции действовало правило — если нет благословения родителей, то нельзя венчаться. Но сейчас, когда родители — часто атеисты или фактически не христиане, говорить об обязательном благословении очень трудно.

Я не хочу сказать, что нужно непременно возвращать старые порядки один к одному, но за этим ведь что-то стояло! Люди всегда хотели сделать брак более прочным, и поэтому жениху и невесте надо было лучше узнать друг друга и что-то узнать об этом браке от других — от родителей, от духовника и т. д.

Конечно, в нормальном случае в церкви до венчания должны были бы быть еще какие-то встречи. Для вас, христиан, это было бы очень важно. Когда люди становятся женихом и



невестой, т. е. обрученными, после этого нужно было бы иметь ряд «огласительных» встреч, потому что вообще обручение — это то, что делает человека как бы «оглашаемым». На таинствоводстве мы с вами **об этом** говорили. Здесь полная аналогия: оглашенный — и верный, обрученный — и человек в браке. И вот, как оглашаемых мы учим довольно длительное время, точно так же учили обрученных в церкви, учили, естественно, не так, как в каких-то психологических консультациях, куда с большой охотой ходят новобрачные люди, чтобы их научили семейной жизни — и до зачатия детей, и особенно когда женщина становится беременной. Но учат там часто не тому...

Мне приходилось много раз видеть, как молодежь с какими-то проблемами начинает сталкиваться до брака, вне брака и в браке, в начале его или где-то через 10 лет после него. А иногда уже и не молодежь, и не через 10, а через 20–30 лет. Им советуют такое, что хоть стой, хоть падай, хоть беги, хоть кричи, а люди верят советам, наивно верят, сами ни в чем не разбираясь. Поэтому я и хотел вам об этом сказать, чтобы вы поняли, что дело не в форме, мол, обязательно иметь родительское благословение и обязательно иметь какое-то научение в церкви после обручения, а в том, какую функцию это все выполняло. Эта функция и ныне должна быть выполнена, пусть даже в каких-то совсем иных формах. Их надо искать, ибо современные формы еще не сложились. Старое разрушить-то разрушили, а ведь на это место ничего не поставили. Дыры зияют. Отсюда несчастливые браки.

**Реплика.** За руки подержались — и уже под венец!

**О. Георгий.** Нет, сейчас этого уже нигде нет. На самом же деле и раньше так не было. Это одна из тех дезинформаций, которая отпугивает людей от традиционных ценностей, что достаточно вредно, потому что опять-таки — разрушать разрушает, а ничего не предлагает. Это и есть прямой вред.

*А.М. Копировский.* Дворцовый этикет: царевича Петра II, юного сына Петра, во время конной прогулки придворные намеренно на 10 минут оставили наедине с княжной, на которой очень хотели, чтобы он женился, и после этого он уже обязан был жениться.

**Реплика.** Поженился?

*А. М.* Он очень маленький был. (*Смех в зале.*)

**О. Георгий.** Это другая история. Здесь работал как бы обратный механизм. Просто человек знал, что это действие есть некий символ, знак. Совершенно неважно, что при этом человек делал 10 минут.

*А. М.* Они отъехали просто от них — и всё, специально, чтобы оставить их наедине.

**О. Георгий.** Да, были какие-то обязательные символы, нарушать которые никто не мог. Общество было традиционным. Иначе бы царевич повредил своей чести, а она в то время ценилась. Сейчас же люди плохо представляют себе, что такое честь — своя или чужая. И бесчестят себя, бесчестят и других, так, походя. А прежде этого не было.

Теперь, повторяю, не сложились какие-то новые формы, дополняющие ощущение человека «я люблю такого-то». Когда человек это говорит, то совершенно бывает непонятно, что он говорит, ни ему непонятно, ни, тем более, другому. Это может быть просто всплеск чувств, которые могут быть сегодня — к одному, а завтра — к другому, третьему. Даже за один день — сразу к десяти. А могут быть чем-то очень серьезным, глубоким, действительно нерасторжимым. В Евангелии говорится: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», т.е. есть вещи, которые

восходят на Небеса, где Бог сочетает людей. Это, конечно, слова-символы, но за ними что-то важное стоит. Идеальный брак — тот, который заключен на Небесах. Только нельзя, увы, сказать, что все браки заключаются на Небесах, как пытались это утверждать до революции, мол, если ты венчан, то ты уже на Небесах заключил свой брак.

**А. М.** Ты уже «заключен».

**О. Георгий.** Да, ты уже «заключен». Это было, конечно, ханжеством, это было трагедией для очень многих людей, хотя не для большинства, и не в одной только «Анне Карениной» это описано.

**Вопрос.** Что Вы имели в виду, когда говорили, что любовь всегда взаимна?

**О. Георгий.** Некоторую реальность жизни и некое качество любви. Или она есть, или ее нет. Если она есть, она всегда взаимна только потому, что она есть. Это некоторый опыт жизни. Это я к тому, что многие современные люди очень боятся любви, потому что их с детства испугали тем, что любовь всегда невзаимна.

**Голос из зала.** У меня всегда невзаимна.

**О. Георгий.** Значит, ты еще одной ногой где-то в детстве. Тебе «повезло».

**Вопрос.** Есть ли опасность в этих всплесках чувств? Если есть, то какая? И как к этому относиться?

**О. Георгий.** Конечно, есть. Во всем есть опасность, что бы вы ни взяли. В любви тоже есть опасность. И во всплесках чувств есть опасность, потому что эти чувства могут оказаться в гордом одиночестве и поэтому тут же умереть. Когда чувства — только чувства, то это опасно потому, что они совсем непрочны, а иногда и просто иллюзорны. Человек сам себя уговаривает или «накручивает». Это вот такая псевдореальность, она опасна, она желаемое выдает за действительное и частичное — за целостное.

**Вопрос.** Что такое тогда неразделенная любовь и как с ней бороться? *(Смех в зале.)*

**О. Георгий.** Я же говорил, что многие современные люди с детства очень настроены на то, что любовь всегда неразделенная. Дело в том, что под любовью люди понимают вещи разные.

**Вопрос.** Что такое любовь? В Евангелии написано: «Бог есть Любовь». А у меня любви нет, я каждый вечер влюбляюсь. Мама говорит, что это увлечение, а сама я не знаю.

**О. Георгий.** Ничего, все нормально. Знаете, неразделенная любовь, как правило, — это то, что не созрело еще. Незрелая любовь всегда неразделенная, однобокая какая-то, обязательно зеленая.

**Вопрос.** А что значит незрелая любовь?

**Из зала.** Значит неготовая, кушать нельзя.

**О. Георгий.** Любовь — то, что стремится к качеству совершенства и целостности, полноты, к Небесам, хотя и пронизывает все остальное. Так что когда этого нет, значит, нет. И тогда очень часто возникают коллизии, человек считает, что он очень любит другого человека, а на самом деле это совсем не так. А в ответ ничего нет, более того, иногда бывает раздражение или даже ненависть. Очень часто люди при этом больше любят себя. Масса таких случаев, я не

хочу перечислять, иначе это будет что-то теоретическое.

**А.М.** Мне кажется, что в понятии неразделенной любви мы слишком часто держим перед собой образец типа Онегина и Татьяны — такой хрестоматийный пример. В действительности это ведь не так, конечно. Существуют не разные типы неразделенной любви, а разные типы разделения. Люди же как-то ориентируются пока на один: любовь разделена может быть так — соединяясь законным браком. Иного варианта нет. На самом деле может быть далеко не так. Настоящий идеал, евангельский, является в образе Христа, а не в образе Авраама и Сарры, которые производят прекрасное потомство, целый народ. Идеал именно в образе Спасителя. Хотя среди апостолов были и люди женатые. Но апостол Павел довольно дерзновенно говорит: «Хочу, чтобы все были, как я. Имеете право сестру жену с собой водить, как апостол Петр, но лучше будьте, как я». Это же не значит, что он не любит, не понимает никого. Я, может быть, скажу даже несколько дерзновенную вещь, выдержит ли ее магнитофон, не знаю, но у женщин, которые служили Спасителю, как сказано, «имением своим», т. е. они приносили какие-то средства, могли быть все-таки к Нему чувства не только как к иконе. Он же не был иконой ближним. И Он этих женщин не держал на расстоянии, не отгонял их, и не только принимал от них пожертвования, Он же с ними разговаривал, они были близко, Он им доверял. Я думаю, об этом стоит задуматься, говоря о неразделенной любви.

**О. Георгий.** Я хотел бы еще добавить об апостоле Павле две важные вещи. Вы их знаете, но о них нужно сказать в связи с тем, что сейчас сказал Александр Михайлович. Во-первых, апостол Павел говорит: «Кому что дано». Он четко понимает, что человек должен иметь достаточно смирения и дерзновения, чтобы просто испытать волю Божию, «кому что дано». Есть люди, причем это значительно больший процент, чем принято считать, которые часто, выйдя замуж или женившись, чувствуют себя «не в своей тарелке». Они это сделали только потому, что так принято среди людей — вроде как бы неудобно не жениться. Ну не в монахи же, в конце концов, идти! И потом, конечно, мучаются всю жизнь от этого. Нужно знать, что есть разные призвания. И реализация человеком себя может быть очень разной. Монашество — это только одна из общепризнанных возможностей жизни человека вне брака. Еще может быть целибатный священник. На Западе все священники — целибаты. Ну и у нас есть отдельные... Это совершенно нормально. Но точно так же совершенно нормально быть в браке. Для кого-то жениться может быть грехом, а для кого-то не жениться — грех. Это одна сторона. И другая сторона — в браке люди имеют «скорби по плоти». Апостол Павел говорит, вы можете жениться, но «будете иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Это действительно так. Брак — это отнюдь не только какие-то удовольствия и радости, даже счастливый брак, брак действительно по любви, но это еще и какие-то скорби, нести которые человек очень часто бывает не готов, совсем не готов. Он на это не настроен. Вот об этом тоже стоит думать. Если же человек самоотвержен, тогда это все же другая ситуация. Человек должен быть достаточно смирен, чтобы открылась воля Божия о нем.

**Вопрос.** Есть ли возможность вот так определить свой путь, пока не наделал ошибок?

**О. Георгий.** Очень трудно, но да.

**Вопрос.** Я поддерживаю вопрос. Я хотел бы сказать, что основной темой была сублимация (**о. Георгий.** Ну не обязательно сублимация, только сублимация), но ведь прежде чем вступить в брак, человек все равно живет один.

**О. Георгий.** Фактически я об этом говорил, только я не очень люблю эту фрейдовскую терминологию. Я говорил, что как может быть разврат духа, души и тела, точно так же и любовь. И все, что касается отношений брачных и сексуальных, должно быть связано и с какими-то тонкостями души и духовными вещами. И если этого нет, то все развалится.

Сублимация — это то же самое, это возвышение чувства любви, утонченность и возвышение, хотя не обязательно всегда «до третьего неба». Психологи сами с трудом до этого доходят, обычно они довольно приземленные люди, не очень чистой жизни. Но они, во всяком случае, говорят об этом возвышении, говорят о том, что сексуальная энергия в человеке может дать какой-то динамический фон, стать богатством жизни, одним из источников той силы, которая человеку так нужна в жизни. Вот на чем построено учение о сублимации. Человек может благодаря любви, в том числе и плотской любви, питать и поддерживать себя в творчестве, раскрывать себя в каких-то очень сложных и тонких отношениях и сторонах жизни, в том числе духовных. Вы думаете, что духовная жизнь никак не связана с плотью? Связана. И совсем не обязательно греховным образом. Совсем не обязательно!

У нас, к сожалению, массовая культура построена так, что она отслеживает только греховные ситуации. И у людей уже выработалась привычка считать, что если есть какие-то отношения между людьми, то это обязательно что-то такое нечистенькое и т. д. И показывают на примеры, как какие-то американские священники в какой-нибудь семинарии соблазнили столько-то мальчиков и т. д., и т. д. И это все муссируется по всему миру — такой мировой скандал. Просто сделали сенсацию, потому что средства массовой информации ничего приличного сами сказать еще не могут. А сублимация в общем-то — простейшая вещь. Человек прекрасно понимает, что если в нем есть любовь, если действительно человек вступает в брак по любви, то он на большом подъеме. И это подъем не только плоти, это подъем не только телесных чувств, но и основа для духовной жизни, для раскрытия духовной жизни. Это действительно богатство человека. Вот и все. Вот что такое сублимация.

Человек должен уметь раскрыться. Любовь — это другая сторона этой открытости. Люди часто ищут любви и при этом закрыты на все пуговицы. Сами себя душат и других готовы придушить. Поэтому и любви в них нет никакой. Почему оскудевает любовь? Потому что оскудевает вера, потому что человек закрыт, потому что нет доверия, нет дерзновения, ничего нет. Качество жизни потеряно. И если уж потеряны такие понятия, как честь человека, не только в узком смысле этого слова — «обесчестил» в смысле «соблазнил», а честь в широком смысле слова, если это потеряно в принципе, то что говорить вообще обо всем остальном? А честь — это еще наполовину языческая вещь, так же как храбрость, смелость, воинский долг и т. д.

Любовь — это очень тонкая вещь, ее нужно живо ощущать. Это чувство иногда связывается с чувством такта. И это то, чего людям, как правило, не хватает. Они либо делают вид, что ничего не видят, т. е. начинают лицемерить, либо так реагируют, что действительно в сапогах влезли в душу и поехали. И вот то, что здесь нужно, это целомудрие, здесь нужен и такт, здесь нужно и максимальное проявление любви и веры в человека, даже если он где-то оступился. Вот это самое важное и самое трудное. И от этого никуда не денешься, ничего здесь другого не скажешь. И так каждый раз.

Вот ваша группа довольно маленькая, и действительно трудно это выдержать. Чем меньше группа, тем тяжелее, это совершенно справедливо. В большой группе легче и лучше, поэтому я за большие группы и на оглашении, и потом в общинах. Почему нужно 20–30 человек? С одной стороны, больше нельзя, но лучше бы и не меньше 10. Иначе такого рода проблемы начинают всех съедать. Слишком тяжело, не хватает такта, не хватает веры, не хватает целомудрия, в конце концов. А целомудрие — слово великое, оно говорит о целостности ума человека и о целостности духа человека. Целомудрие — не просто целостность ума, мудрования, мысли, это не просто мудрость. В древности мудрость воспринималась как высшее обозначение духа, духовной жизни человека. Понимаете теперь, что такое целомудрие? И этого, конечно, у нас не хватает. Взрослым людям не хватает, опытным, священникам не хватает, которые просто обязаны хоть что-то об этом знать и что-то такое являть. А что говорить про молодежь?

Поэтому я все-таки рекомендовал бы вам решать эти вопросы с катехизатором или духовным отцом. С родителями у нас сегодня решить что-то трудно, к сожалению, в огромном большинстве случаев. Исключений я почти не знаю, увы... Даже если родители очень хорошие. Только не нужно здесь переходить границы, чтобы это не превратилось в доносительство, ябедничество или в двусмысленные вещи. Иногда человек поверяет другому какую-то свою тайну, и ее надо сохранить как тайну, даже если вы обращаетесь к кому-то за помощью и советом. Вот это тоже очень трудно. Надо всегда быть верным, верным тому, кто вам открылся или доверился. И это трудно, особенно если вы хотите человеку помочь и особенно если вы чувствуете, что у вас сил не хватает и вы хотите к кому-то обратиться. И все же верность должна оставаться верностью. Ни в коем случае нельзя открывать тайну. Как священник не может выдать тайну исповеди, точно так же и друг не имеет права выдать тайну своего друга. Дети не могут выдавать тайны родителей, а родители — тайны детей. Если про тайну исповеди мы еще что-то знаем, то ничего не понимаем в вещах, связанных с друзьями, родными, а это вещи совершенно одного порядка. Ты здесь затронул самый трудный и болезненный вопрос. И, к сожалению, сейчас я больше сказать не могу, потому что тогда придется разбирать конкретные вещи, а это уже трудно делать в большой аудитории.

**Вопрос.** Батюшка, вот Вы сказали, что нужно сохранять тайну родителей, а предположим, отец приходит пьяный и просит: «Матери не говори!» Мама приходит через день и спрашивает, пьяный он был или нет. Что же делать, как лавировать?

**О. Георгий.** Это вещи разные. Да, немного разные. Это, в общем-то говоря, не тайна отца. Он просит о чем-то не говорить только потому, что не хочет скандала, и больше ничего. Тут просто нельзя обещать, когда он просит не говорить, нельзя обещать, что не скажешь. Надо сказать: «А если мама спросит, то скажу». (Смех.) Только не надо говорить, что ты сам побежишь доносить. Здесь очень важно никогда не нарушать обещаний. Если пообещаешь не сказать, то тут уж не говори. Даже если ты случайно или из-за страха, что он тебе по голове даст, пообещал, даже если по слабости пообещал. Пообещал — выполни обещание. Но я бы вышел из положения таким образом — нашел бы возможность в какой-то полушутливой форме сказать: «Но если спросит — скажу». Почему в данном случае так нужно сделать? Всем известно, что такое пьянство. Известно, что покрытие этого греха означает погружение человека дальше в это болото. Это то же самое, если ему давать деньги, когда он просит: «Христа ради, дай мне. Помоги мне, Христа ради». И человек часто, к слову говоря, пасует перед этим. Вот, вы видите в дрезину пьяного, который просит Христа ради, вы подходите и даете, потому что вроде бы нищим и просящим надо дать, и при этом совершенно не соображаете, что вы убиваете человека. Это то же самое, как если бы вы дали ему ногой по почкам. Это такого же рода вещи. И их надо различать. Мало ли кто что скажет, нужно знать, что означают слова. А с родителями это трудно. Правда, здесь есть еще одна сторона. Ну уж если такой дан конкретный пример, тут очень редко супруги могут реально помочь друг другу. На самом деле, что мама может сделать? Она может устроить скандал, может дать какие-то ультиматумы, и она ничем ему не помогает здесь. Хотя, может быть, ничего и не ухудшает. Она просто нагоняет на него страх. Но если есть уже некоторая тенденция человека, такая склонность к алкоголизму, или уже алкоголизм, то ничего этим не сделаешь, только все ухудшишь. Помощь должна быть, но она должна быть какой-то другой, вот какой — тут уже надо смотреть конкретно. Размышляйте, смотрите по последствиям, что вы делаете, отвечайте за то, что вы делаете и как вы делаете.

**Вопрос.** Как относиться к сексуальности в браке — как к необходимости или как к средству общения? **(Смех.)** Или как к средству получения удовольствия, или как к средству получения потомства?

**О. Георгий.** Понимаете, в нормальном браке сексуальность так или иначе всегда присутствует, в человеческом браке на земле. Она — средство единения. Уже как следствие единения могут быть дети, как плод любви. А к слову говоря, брачная любовь может быть целомудренной. На самом деле целомудрие не противоречит браку, деторождению и брачным отношениям. Сексуальность все-таки в первую очередь — это средство единения. Цель — единство духа. Да и по плоти тоже, это специфика брака. Есть другие пути единения. В Церкви тоже люди объединяются, но, конечно, не сексуальным образом. Когда сексуальным, то вы знаете, как в сектах называются такие грехи — свальный грех и т. д. А такие секты были, и не однажды в истории, не только священная проституция в языческих культах, но и в этаких полухристианских сектах.

Секс — достаточно мощное специфическое средство единения в браке, потому что пронизывает всего человека. Здесь Фрейд прав в том, что сексуальность — свойство всего человека. Деторождение — одно из следствий. Наслаждение — тоже одно из следствий.

**Вопрос.** Следует ли сексуальность считать необходимостью?

**О. Георгий.** Необходимостью — меньше всего. Но все-таки здесь есть элемент необходимости, здесь есть элемент инстинкта, да, здесь есть элемент животности. Поэтому некоторые люди очень не любят брачных отношений, крайне не выносят, потому что видят в этом прежде всего животные отношения, как в известном анекдоте: «Вот так же и у птичек». Человек легко отождествляется с животным. Есть нечто, что принадлежит ему просто как плотскому человеку, животному существу, живому существу, не духовному. Все эти инстинкты в человеке заложены. Они касаются, конечно, и брачных отношений. В огромной степени брачные отношения, сексуальные отношения, как известно, носят совершенно инстинктивный характер. Человеку кажется, что он себя во всем контролирует, на самом же деле он на 90% себя не контролирует. Но все-таки на 90, не больше! Поэтому, когда человек говорит, что я себя не контролировал и потому наделал то-то и то-то, вы меня простите, это уже неправда. Да!

Все, что связано с сексом, а это очень существенно, и хорошо, и плохо, ибо в этом всегда есть та самая безличностная, нечеловеческая еще необходимость.

Вот Бердяев очень не любил деторождение, крайне не любил. Он очень не любил одного даже вида беременных женщин, потому что видел в этом как раз то, что делает человека животным механизмом, и больше ничем. Он считал, что когда говорят, что брачные отношения нужны лишь для деторождения, то это инструкция по животноводству, инструкция по размножению известных особей.

Да, здесь есть и что-то другое, поэтому я и сказал, что цель сексуальных отношений все-таки в единении. Другое дело, что человек этого единения вполне не достигает на земле никогда, даже в самых хороших брачных отношениях. Я сегодня уже вам говорил о том, что возникает пустота, когда человек вне брака имеет брачные отношения. Но повторяю, и в браке человек до конца единства еще не достигает. Он все равно не обретает того, чего ожидает от брака. Поэтому абсолютно счастливым не может быть ни один брак, кроме брака человека с Богом. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Да, есть и необходимость, да, есть и удовольствие, да, есть и деторождение, да, есть всё-всё-всё, уж нельзя нам лицемерить, потому что сейчас такого лицемерия много, к сожалению, даже в церковной среде, необыкновенно много. Да, надо признать, что все это есть. Но, во всем этом есть свои какие-то негативы, и потому главное, от чего это происходит, — все-таки человек, стремящийся к открытости и единению с другим человеком, и через это — к самораскрытию. Это достойно человека. Это на самом деле духовный процесс. В.С. Соловьев в статье «Смысл любви» очень хорошо писал о том, чем отличается человек от животного, что у животного главное — как можно больше

породить себе подобных, а у человека — как раз все преображающая любовь. Он действительно обретает высший смысл в любви, в этом единении. И вполне естественно, что возникает семья, вполне естественно, что покуда он воплощенный человек, то есть и деторождение, и все остальное. И слава Богу! Но оно все-таки отступает на второй план. Другое дело, что когда появляются дети, не само деторождение, а когда появляются дети, то, конечно, нельзя сказать о детях, что они второстепенны или вторичны в семье. Вот этого сказать нельзя.

7 апреля 1994 г.

## Семен Зайденберг: О поэзии Ольги Седаковой

Поэзия

Однажды, говоря о поэзии Иосифа Бродского, Ольга Седакова вспомнила его слова: Не надо обо мне. Не надо ни о ком. Заботься о себе... После такого предупреждения писать о самой Седаковой — страшновато. Поэтому о себе и позаботимся.

Журнал наш православно-христианский, поэтому в разделе «поэзия» мы печатаем, как правило, стихи определенных людей и на определенную тему. Правильно ли это? Не оскорбляем ли мы тем самым поэзию, не говоря уже о большем? Коль скоро про Седакову (хочет она того или нет) известно, что она — поэт христианский, то и зададим себе — и автору — вопрос: как сейчас возможна христианская поэзия, и возможна ли она вообще?

Говорят, поэзия похожа на молитву... Может быть, но с одной существенной разницей — молитва обращена к всемогущему и милостивому Богу, поэзия — к немощным и жестоким людям, сердце человека — камень, — замечает у Седаковой тот, к кому обращена молитва. Смещение двух этих адресатов не обещает поэту ничего хорошего.

А именно — по меньшей мере две опасности дурного вкуса: либо использовать «авторитет» Создателя как подпорку собственной поэтической немощи, либо — пытаться подчинить Его поэтическому своеволию, т.е. той же самой немощи. В жизни христианин неизбежно впадает в оба эти искушения, поэтому его ждет Страшный суд и, возможно, — прощение, стихам же ждать нечего: — или поэт «сам свой высший суд», или никакого суда ждать уже не приходится.

Что такое поэзия? В самой возможности поэтической метафоры, сравнения непохожих предметов, таится их мифологическое отождествление, являющее скрытую от нас изначальную целостность мира, когда: связей было сколько угодно, пока еще ничего толком не развязано..., как пишет Ольга Седакова в «Похвале поэзии». Метафора и есть эта связь слов, одновременно развязывающая эти слова и вещи, а значит — и сам мир, для бытия. В этом смысле метафора похожа на первую любовь, в неожиданной и непреодолимой связи которой человек впервые узнает себя — как себя, другого — как другого, мир — как мир, а свое призвание — как жертвенность: И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа, поэтому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть... — вот, здесь все: изначальная связь, развязывание через жертву (из ребра, к тому же через сон, т.е. смерть), узнавание-обретение имени, свобода (как свобода от рода, от той самой изначальной обусловленности) и наконец — новое, свободное единство.

В этом же смысле о любви и метафоре писал Мандельштам, на которого Седакова здесь явно

ориентируется: Может быть, это точка безумия, Может быть, это совесть твоя, — Этот узел, в котором мы узнаны, И развязаны для бытия, — (напомним, что в Септуагинте, сон Адама переведен как экстазис, — экстаз, выход из себя, который всегда — или в пустоту (точка безумия), или — к другому (и тогда это — со-весть), — но гарантий здесь нет, иначе жертва не будет жертвой). Основу этого дантовского заговора бытия против небытия (Мандельштам) и составляет то, откуда все взято — земля: Потому что я есть, — она отвечает, — Потому что все мы были («Земля»).

Такова цель метафоры, поэзии и любви: вновь связывать и развязывать давно потерявшее связь, возвращать бытию его собственный вкус жертвенной любви и милости. Но здесь и кончаются ее возможности: брак по плоти, между людьми или словами (что в поэзии не так просто различить) есть только образ, максимум это — брак в Кане Галилейской, брак, на который приходит Спаситель, но и не более того. Или, как пишет Седакова, часы искусства время от времени доходят до вергилиевой «Четвертой эклоги», — и там останавливаются («Похвала поэзии»). Или, тоже самое, — в поэтическом тексте:

Прими, мой друг, моей печали дар. Ведь красота сильней, чем сердце наше. Она гадательная чаша, невероятного прозрачный футляр.

Как говорил Хайдеггер, задача поэтического текста в том, чтобы поставить человека в просвет бытия, а уж явятся ли в этом просвете (футляре) боги, и какие это будут боги — не от нас зависит. Можно сказать, поэтому, что для Седаковой поэзия есть в глубоком смысле слова Ренессанс, — не «возрождение античности», но задача, когда-то поставленная (но так и не решенная) Платоном в конце его «Государства»: спасти миф, явить просвет бытия.

Но раз речь идет о том, чтобы кого-то или что-то спасти, то всерьез это может сделать только тот, кто приходит на брак, а это значит, что Он уже был там — до того, как пришел. Если Ренессанс есть спасение античности, мифа в глубоком смысле этого слова, то, что бы ни случилось, это спасение уже есть спасение Спасителя.

Ренессанс есть плод Средневековья, когда искусство было спасено в лодке имени Христова — по-разному на Западе и на Востоке. Ренессанс есть исполнившаяся метафора — именно поэтому он привел к «секуляризации»: до любви, до метафоры, человек не может пасть, поскольку целиком зависит от Бога, как ребенок от родителей. Человек же, достигший любви и метафоры, в падшем мире не пасть не может.

Поэтому для Седаковой поэзия, метафора, двойственны — ее существование уже свидетельство спасения, но и «Четвертая эклога» этим не отменяется.

Однако, если искусство завоевало себе право существовать вне имени Божьего, то имя Божье в искусстве стало просто одним из слов: Ренессанс тем и отличается, что религиозный сюжет или образ совсем не предполагают веры, не говорю — благочестия. Даже в обратном случае Вергилий и Прекрасная дама куда реальнее Эмпирея — не знаю как где, но сейчас в России перевод Лозинского мало кто читает дальше «Ада» (видимо, пейзажи Чистилища уже мало кем узнаваемы). Если имя Божье стало одним из слов, то задача поэзии в том, чтобы это перестало быть так. И здесь уже вопрос собственно о стихах и метафорах самой Седаковой — достигают ли они этого рубежа или нет? На этот вопрос отвечать, кроме читателя, некому.

Если же говорить дальше, больше и вернее, то, разумеется, отождествление слова и слова — не единственный вид метафоры, как и отождествление вещи и вещи — не единственный вид мифа. Например, греческая его разновидность есть скорее отождествление вещи и смысла, ума. Седакова где-то замечает по этому поводу, что если вся русская воспевает брак слова со



словом, то поэзия Бродского вслед за европейской традицией — брак ума со словом. От себя добавим, что дело не в ученичестве у Запада: брак ума и слова в поэзии Бродского — не брак, а, скорее, следствие расторжения вышеназванного брака. Развода, вызванного не «разлагающим влиянием Запада», но внутрисемейными проблемами. Развода, чья неутихающая боль свидетельствует о нерасторжимости брака и требует спасения. Это, конечно, тема другого и более подробного разговора, и поэтому неизбежно возникающий вопрос: к какому же «типу» или «семейному положению» относится метафора самой Седаковой? — мы здесь оставляем открытым.

Метафору невозможно подделать. Из произвольного отождествления одного с другим ничего не выйдет, а с другой стороны — метафоры нет там, где все очевидно. Что же дает метафоре жизнь? Ответ представляется довольно простым: голос автора. Точность и неповторимость метафоры определяется вовсе не тем, что автор «знает» какие-то тайные, магические, «симпатические» скрытые связи между вещами и словами, — поэзия открывает то, что называется загадочным словом «личность», ее точность и неповторимость. Слова, в общем-то ничьи, в стихах «настоящего поэта» становятся его словами, такое обладание и владычествование как раз и свидетельствует о свободе личности. Мир, смотря в прозрачный футляр Седаковой, был сотворен в личности, и потому метафора, как образ творения, развязывания для бытия, есть явление личности. И поэт, как поэт, не личность, — но образ личности.

И чем ближе к концу, тем явственней этот образ.

В заключение предлагаем читателю вот что. Сравним два подхода к Имени — Бродского и Седаковой. Оба поэта, вне зависимости от их церковности, относятся к Творцу максимально серьезно. В то же время, оба — современные поэты, то есть находятся в тех условиях, о которых мы писали раньше: если можно быть уверенным, под чашкой имеется ввиду именно чашка, то за словом «Бог» для поэта может не стоять ничего.

Е. Леонской  
В воздухе — сильный мороз и хвоя. Наденем ватное и меховое. Чтоб маяться в наших сугробах с торбой — лучше олень, чем верблюд двугорбый. На севере если и верят в Бога, то как в коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало. На юге, где в редкость осадок белый, верят в Христа, так как сам он — беглый. Родился в пустыне, песок-солома. и умер тоже, слышать, не дома. Помянем нынче вином и хлебом жизнь, прожитую под открытым небом, чтоб в нем и потом избежать ареста земли — поскольку там больше места. Декабрь 1994

Погодные условия русско-американского Рождества, ирония по этому поводу, очевидная, даже подчеркнутая, отстраненность авторской интонации — особенно в отношении имени Божьего и имени Христова, — и именно эта отстраненность, позволяют поэту совершить нечто замечательное: ручаюсь, что редкий читатель «с ходу» заметит, какое количество евангельских цитат буквально втиснуто в последнюю строфу. Здесь и «хлеб и вино» Тайной вечери, и «Сие творите в Мое воспоминание», и имя Христа — «Жизнь», и «и открылись Ему небеса, и «в доме Отца Моего обителей много», — и это еще не все. Может быть и не имеет смысла говорить о религиозности Бродского, но как поэт в Новый Завет он вступил, свою Евхаристию совершил, заповедь Христа исполнил, — нравится это кому-нибудь, или нет.

А вот образ Нового Завета у Ольги Седаковой.

Детство  
Помню я ранее детство  
сон в золотой постели. Кажется или правда? — кто-то меня увидел, быстро вышел из сада и стоит, улыбаясь. — Мир — говорит, — пустыня. Сердце человека — камень. Любят люди чего не знают. Ты не забудь меня Ольга, А я никого не забуду.

Седакова, наоборот, помещает себя и нас в пространство сна, т.е. туда, где не может быть иронии и отстраненности, где все вещи слишком реальны, то есть уже не вещи, но образы — золото, сад, пустыня, камень. Но это нарочитое, как бы ангельское пространство, которое Седакова как-то назвала «тонированной бумагой», вдруг прорывается неожиданной и уже совсем не ангельской реальностью (поскольку человеческое, как и божественное, — реальнее ангельского).

«Сие творите...» вроде бы снижается до обыденного «не забудь», но в такой «рамке» его звучание достигает максимума. Но самое точное здесь, мне кажется, — верность интонации. Завет заключается с одним конкретным человеком: «Ты не забудь меня», но вместо ожидаемого по всем правилам заключения договора: «А я не забуду тебя», — стоит: «А я никого не забуду». Это мгновенно переворачивает ситуацию, становится понятно, что это собственно не завет, не договор, поскольку тот факт, что он «никого не забудет», не может зависеть от дальнейшего поведения девочки, видящий сон. Но по форме это именно завет, договор, поскольку по гамбургскому счету мера ответственности и возможности человека именно такова и не может быть отменена, а значит обратная, невидимая сторона милосердия говорящего — крест. Крест, который не виден, но тень которого, составленная из слов: пустыня, камень, любят, не знают, — падает на золотую постель. И именно эта невидимость, несказанность, — залог неподдельности. (Интересно, что в предыдущем стихотворении этого цикла, озаглавленном «Судьба», она, судьба, говорит о памяти нечто прямо противоположное: Может, и ты меня вспомнишь, Когда я про тебя забуду.)

Но и этого в действительности мало для полного звучания. Ведь в стихах не сказано — кто именно выходит из сада. Здесь не звучит его имя, но сам он произносит имя того, к кому обращается, и именно оно оказывается свидетельством подлинности. (Как в сказке — герой видит сон, но проснувшись обнаруживает в руках предмет из той реальности.) Имя собственное (т.е. такое, которого никто не знает, кроме получающего), произнесенное, как бы врученное им, оказывается той печатью на сердце, которая, как это следует из стихов Седаковой, во времена Ренессанса может спасти от забвения сильнее и надежнее, нежели даже его имя. Во всяком случае, если не сохранить это имя, то все остальное будет уже бессмысленно. (Это особенно актуально сегодня, когда, как мы видим, призывание Имени уже не может спасти человека от предательства, подлости и пошлости.) И — может ли это быть? — где-то здесь лежит главное в поэзии Ольги Седаковой.

## Ольга Седакова: Стихи

### Поэзия

Из цикла «Тристан и Изольда»<sup>2</sup>. Нищие идут по дорогам  
Хочу я Господа любить, как нищие  
его. Хочу по городам ходить  
Божьим именем просить, и все узнать, и все забыть,  
и как немой заговорить о красоте Его.  
Ты думаешь, стоит свеча, и пост — как тихий сад?  
Но если сад — то в сад войдут  
и веры, может, не найдут, и свечи счастья  
не спрядут жалобно висят. И потому ты  
дверь закрой и ясный ум в земле зарой — он прорастет,  
когда живой, а сам лежи и жди. И кто зовет —  
с любимым иди, любого в дом к себе введи,  
не разбирай и не гляди — они ужасны все,  
как червь на колесе.

А вдруг убьют? пускай убьют: тогда лекарство подадут  
в растворе голубом. А дом сожгут? пускай сожгут.  
Не твой же это дом.

Из цикла «Старые песни» Вторая тетрадь

#### 4. Уверение

Хоть и все над тобой посмеются, и будешь ты лежать, как Лазарь, лежать и молчать перед небом — и тогда ты Лазарем не будешь.

Ах, хорошо сравняться с черной землей садовой, с пестрой придорожной пылью,  
с криком малого ребенка, которого в поле забыли...

а другого у тебя не просят. 10. Дом Будем жить мы долго, так долго, как живут у воды деревья, как вода им корни умываети земля с ними к небу выходит, Елизавета к Марии.

Будем жить мы долго, долго. Выстроим два высоких дома: тот из золота, этот из мрака, и оба шумят, как море.

Будут думать, что нас уже нет... Тут-то мы им и скажем:

— По воде невидимой и быстрой уплывает сердце человека. Там летает ветхое время, как голубь из Ноева века.

ДАВИД ПОЕТ САУЛУ — Да, мой господин, и душа для души — не врач и не умная стража. (Ты слышишь, как струны мои хороши?) Не мать, не сестра, а селенье в глушии долгая зимняя пряжа. Холодное время, не видно огней, темно и утешиться нечем. Душа твоя плачет о множестве дней, о тайне своей и о шуме морей. Есть многие лучше, но пусть за моею она проведет этот вечер.

И что человек, что его берегут? — гнездо разоренья и стона. Зачем его птицы небесные вьют? Я видел, как прут заплетается в прут. И знаешь ли, царь, не лекарство, а труд — душа для души, и протянется тут, как мужи воют, как жены прядутруно из времен Гедеона.

Какая печаль, о, какая печаль, какое обилье печали! Ты видишь мою безответную даль, где я, как убитый, лежу, и едва лькто знает меня и кому-нибудь жаль, что я променяю себя на печаль, что я умираю вначале.

И как я люблю эту гибель мою, болезнь моего песнопенья! Как пленник, захваченный в быстром бою, считает в ему неизвестном краю

знакомые звезды — так я узнаю картину созвездия, гибель мою, чье имя — как благословенье.

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин, мы все. И верней, чем другие, я слышу: невидим и непобедим сей внутренний ветер. Мы все отдадим за эту равнину, куда ни одинеще не дошел — и, дожив до седин, мы просим о ней, как грудные.

Ты видел, как это бывает, когдаребенок, еще бессловесный, поднимется ночью — и смотрит туда, куда не глядят, не уйдя без следа, шатаясь и плача. Какая звезда его вызывает? какая дудакаких заклинателей? — Вечное датакого пространства, что, царь мой, тогдауже ничего — ни стыда, ни суда, ни милости даже: оттуда сюдамы вынесли все, и вошли. И воданесет, и внушает, и знает, куда... Ни тайны, ни птицы небесной.

СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Так мы и ехали: то ли в слезах, то ли больно от белого света. Я поглядела кругом, чтоб увидеть, как видимо это. — Так, как душа твоя ноет и зрение хочет разбить — зеркало злое, кривое, учившее вас не-любить. Так и узнала я, с кем мне положено быть. Друг мой последний и первый, невиданный, лишь напряженьем между желаньем и ужасом,

только движенек гибели, гибнуть когда не желают, и гибнут, ища продолженья в этом лице — терпеливо оно, как растение. Сердце сердец, погубивших себя и влюбленных в спасенье. Мы проезжали поля, и поля отражали друг друга, листья из листьев летели, и круг выпрямлялся из круга. Или свиданье стоит, обгоняющий сад, где ты не видишь меня, но увидишь, как листья глядят, слезы горят, и само вещество поклянется, что оно зрением было и в зренье вернется. Поезд несется, и стонет душа от обличий, рвань раздвигая живую, как варварский, птичий, страстный язык, чтобы вынуть разумное слово... Ты ведь уже не свиданье, не разрывание круга цветного. Буду я ехать и думать в своей пустоте предсердечной, ехать, и ехать, и плакать о смерти моей бесконечной...

СТАТУЭТКА СЛОНА З. Плавинской На востоке души, где-то возле блаженных Аравий, в турмалиновых гнездах, откуда птенцов воровали,

и летающих рыб, и драконов на заячьих лапах, и больших изречений всегда наркотический запах,

мы, должно быть, бываем тем деревом прочным и чистым, темной люлькой для образов, снящихся змеям пятнистым.

— О, ты будешь слоном! — говорит ему мастер голодный... Ибо тяжесть земная выходит из клетки народной.

Золотые бока и надбровные царские шишки... Ибо тяжесть земная с дозорной спускается вышки.

Каждый образ хорош. Только слон поправляет ограды... Это тяжесть земная, вздыхая, уходит из сада...

Как же хочется быть драгоценным и тихим созданием, чтоб его захватили, простясь со своим мирозданием!

Каждый образ хорош, каждый облик похож на ресницы, увлажненные сном. Каждый знает, кому поклониться...

И не все ли равно — рассыпаться, как облако пыли, или резать слонов и следить, чтоб они говорили.

БЕЗЫМЯННЫМ ОСТАВШИЙСЯ МУЧЕНИК — Отречься? это было бы смешно. Но здесь они — и больше никого. До наших даже слуха не дойдет, исключено. Темница так темница — до окончания мира. Чтобы им мое терпенье сделалось уроком? что им урок — хотелось бы взглянуть! Их ангелы, похоже, не разбудят, не то что вот таких, иноязычных, малютка — смерть среди орды смертей в военной области. Никто, увы, исключено. Никто глазами сердца мой путь не повторит. Там что решат? от кораблекрушенья, эпидемий... Вот напугали, тоже мне: никто. Чего с них требовать. Они ни разу не видели, как это небо близко, но главное — как на больных детей похоже... Верность? нужно быть злодеем, чтоб быть неверным. Уж скорей птенца растопчу или пинком в лицо старуху мать ударю — но тебя, все руки протянувшее ко мне, больные руки! Кто такое может. Я не обижу, Господи. Никто. Поступок — это шаг по вертикали. Другого смысла и других последствий в нем нет. И разве вам они нужны?

ВАРЛААМ И ИОАСАФ

Старец из пустыни Сенаарской... Русский духовный стих 1 Старец из пустыни Сенаарской в дом приходит царский: он и врач, он и перекупщик самоцветов. Ум его устроив и разведав, его шлют

недоуменный плач превратить во вздох благоуханный о прекрасной, о престранной родине, сверкнувшей из прорех жизни ненадежной, бесталанной, как в лачуге подземельной смех.

Там, в его пустыне, семенами чудными полны лукошки звезд. И спокойно во весь рост Сеятель идет над бороздами вдохновенных покаянных слез: только в пламя засевают пламя, и листают книгу не руками, не жгут лампы над строками, но твою, о ночь, возлюбленную нами, выжимают световую гроздь.

Но любого озаренья любого счастья взглядов без сожаления оставит: так садовник сажит, строит, правит — но хозяин входит в сад. Скажет каждый, кто работал свету: ангельскую он прервет беседу и пойдет куда велят.

Потому что вверх, как вымпел, поднимает сердце благодать, потому что есть любовь и гибель, и они — сестра и мать.

2 Мне не странно, старец мой чудесный, — говорит царевич, — хоть сейчас, врач, ты подними меня с постели тесной, друг, ты уведи от сласти неуместной. Разве же я мяч в игре бесчестной, в состязанье трусов и пролаз?

Строят струны, звезды беспокоят. Струны их и звезды ничего не стоят, все они отвернуты от нас. И я руку поднимаю и дотрагиваюсь — и при мнervется человек, как ткань дурная, как бывает в страшном сне. Но от замысла их озлобленья не прошу я: сохрани! — бич стыда и жало умиленья мне страшнее, чем они. Мне страшнее, старец мой чудесный, нашего свиданья час, худоба твоя, твой Царь Небесный, Царь твой тихий, твой алмаз. Ветер веет, где захочет. Кто захочет, входит в дом. То, что знают все, темнее ночи. Ты один вошел с огнем. Как глаза, изъеденные дымом, так вся жизнь не видит и болит. Что же мне в огне твоём любимом столько горя говорит? Если бы ты знал, какой рукою нас уводит глубина! — о, какое горе, о, какое горе, полное до дна. 3 И как сердце древнего рассказа, бьется в разных языках — не оставивший ни разу ни одного пропавшего, проказу обдувающий, как прах, из прибора поколенья собирающий Себе народ — Боже правды, Боже вразумленья, Бог того, кто без Тебя умрет.

ЗЕМЛЯ Сергею Аверинцеву Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная, земля начинает светиться, возвращая избыток даренного, нежного, уже ненужного света. То, что всему отвечает, тому нет ответа.

И кто тебе ответит в этой юдоли, простое величье души? величье поля,

которое ни перед набегом, ни перед плугом не подумает защищать себя: друг за другом

Все они, кто обирает, топчет, кто вонзает лемех в грудь как сновиденье за сновидением, исчезают где-нибудь вдали, в океане, где все, как птицы, схожи. И земля не глядя видит и говорит: Прости ему, Боже! — каждому вслед.

Так, я помню, свечку прилаживает к пальцам прислужница в Пещерах каждому, кто спускается к старцам, как ребенку малому, который уходит в страшное место, где слава Божья, — и горе тому, чья жизнь — не невеста, где слышно, как небо дышит и почему оно дышит. — Спаси тебя Бог, — говорит она вслед тому, кто ее не слышит..... Может быть, умереть — это встать наконец на колени? И я, которая буду землей, на землю гляжу в изумленья. Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья спрашиваю о причине заступничества и прощенья, я спрашиваю: неужели ты, безумная, радатыся челястями глотать обиды и раздавать награды? Почему они тебе милы, или чем угодили? — Потому что я есть, — она отвечает.

—Потому что все мы были.